

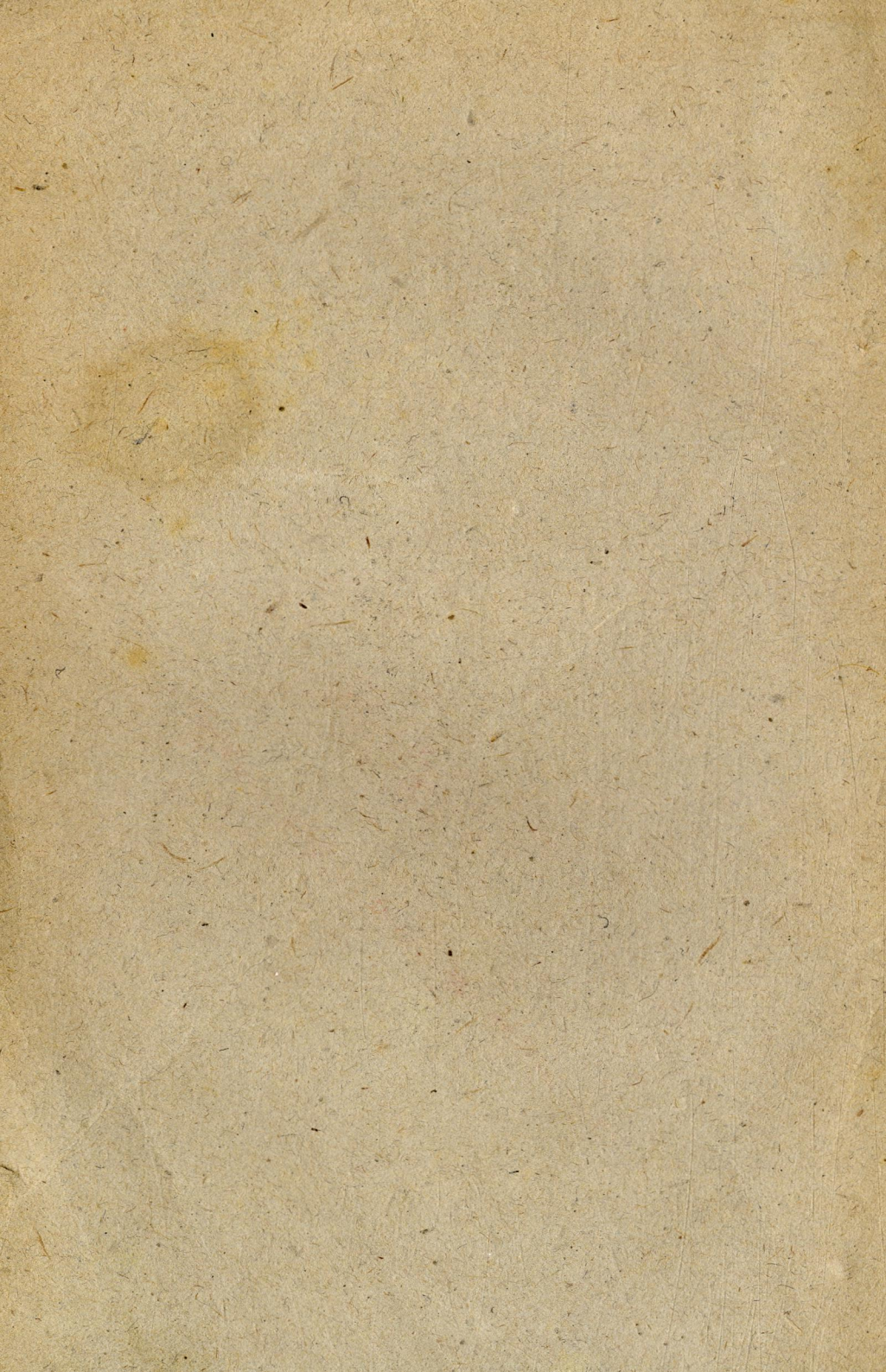
5507
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ГЕТЕ

1832—1932

Доклады,
прочитанные на торжественных заседаниях
в память Гете 26 и 30 марта 1932 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
ЛЕНИНГРАД 1932



175
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

судисчан
Всг. 14
Ак. 17
18/IV 501.

Львів. Бібліотека
АН УРСР

12.224.

ГЕТЕ

1832—1932

Доклады,
прочитанные на торжественных заседаниях
в память Гете 26 и 30 марта 1932 г.

~~125207~~

Св. см. ГА СССР
1979 г. II



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
ЛЕНИНГРАД 1932

415(41)5-4 Гетт 4/5243

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР
Июль 1932 г.

Непременный секретарь академик *В. Волин*

Редактор издания академик А. М. Деборин

Технический редактор Л. А. Федоров

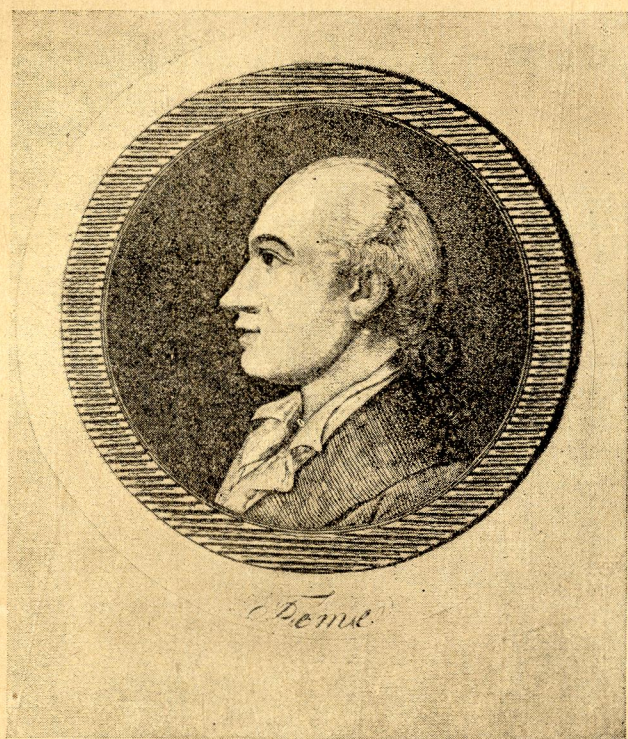
Сдано в набор 1 июня 1932 г. Подписано к печати 7 июля 1932 г.

Тит. л. + 2 нен. + 107 стр. + 12 таблиц
Форм. бум. 62×94 см. — $87/8$ п. л. — 40320 печ. зн. в л. — Тир. 6000
Ленгорлит № 46777. — АНИ № 195. — Заказ № 1118.
Типография Академии Наук СССР. В. О., 9 линия, 12.



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Акад. А. П. Карпинский. Вступительное слово	5
Акад. Н. И. Бухарин. Гете и его историческое значение	8
Акад. М. А. Мензбир. Значение Гете в истории морфологии животных	43
Акад. В. Л. Комаров. Гете как ботаник	49
Акад. М. Н. Розанов. Гете и Байрон	65
Приложения	
Автографы Гете в собраниях Академии Наук СССР. Приготовил к печати Б. В. Томашевский	80
Л. Б. Модзалевский. Гете — почетный член Петербургской Ака- демии Наук. Историческая справка	93
П. Н. Берков. К истории первоначального знакомства русского читателя с Гете. Библиографические материалы	98



С гравюры, хранящейся в Архиве Академии Наук СССР
(вероятно работы Алексея Касаткина)

Акад. А. П. КАРПИНСКИЙ

Вступительное слово

Сегодняшний вечер Всесоюзной Академии Наук посвящен памяти великого писателя Гете, который, подобно другим деятелям, далеко выдающимся из общего людского уровня, принадлежит не только его родному народу, но и всему человечеству. Целый век, минувший с его кончины, нисколько не отразился на высокой оценке его деятельности, на оставленном им наследии, которое продолжает светить все ярче и глубже, соответственно росту человеческой культуры.

И, к слову сказать, к счастью для этой культуры, сколько среди различных национальностей можно найти мировых ученых и мировых представителей искусства, этих истинных благодетелей человечества, которыми и наша страна никогда не оскудевала.

22 марта исполнилось сто лет со смерти Гете, который был почетным членом и нашей Академии. Гете оставил нам громаднейшее литературное наследие, среди которого есть немало трудов по различным отраслям естествознания, составивших в монументальном Веймарском издании его сочинений двенадцать томов.

Желая возможно полно осветить многообразные стороны всеобъемлющего гения Гете, Академия обратилась к ряду своих членов по соответственным специальностям, прося их об участии в чествовании памяти Гете, которое за обширностью программы нам пришлось разделить на два заседания.

Еще в Лейпцигском университете, куда он поступил 16 лет, и позднее в Страсбурге, Гете, между прочим, посещал лекции по естественным наукам, хотя по желанию отца он готовился к юридической карьере, а его собственные интересы влекли его больше в сторону изящной литературы и искусства. Тем не

менее, обладая зорким взглядом и будучи от природы точным наблюдателем, Гете проникал в природу и изучал ее явления. Его поэтическое творчество, однако, снискавшее ему очень быстро широкую известность, сосредоточивало на себе преимущественное внимание, и в конце своей жизни Гете сам говорил, что в течение более полувека он пользовался известностью, как поэт, и в своей стране и за ее пределами, но никто не учел, что в то же время он со страстным прилежанием, усердием и постоянством занимался изучением явлений природы.

Как вы увидите из сегодняшних докладов, Гете занимался и ботаникой, и зоологией, и физикой, и был не чужд геологии. Давая описания природы, в ярких красках изображая ландшафт,¹ Гете связывает его и с геологией местности. Свое пребывание в Карлсбаде он использует для геологических наблюдений и сбора минералогических коллекций, результатом чего явились его статьи, напечатанные в свое время в известном геологическом журнале Германии. Для улучшения финансового положения Веймарского герцогства, где Гете занимал крупный административный пост, он, будучи знаком с геологией этой части Германии, обратился к использованию ее рудных месторождений, что в свою очередь послужило к расширению его познаний о строении земной коры. Следует оговориться, что геология времен Гете была еще сравнительно молодой наукой, и некоторые области современной нам геологии были тогда неизвестны или еще не привлекли к себе внимания. С другой стороны, наблюдения Гете, непрерывные во времени, носили разрозненный характер и не велись систематически. Собственно изучение геологической истории современными методами началось только за 23 года до кончины Гете, выделением из поверхностных отложений (из наносов) осадков так наз. третичной системы. Мезозойская эра была выделена за 17 лет до его смерти, а еще более древние, палеозойские отложения были хронологически классифицированы уже после его смерти. Гете, гений которого далеко выходил за пределы его современности, без

¹ Гете, как проникновенный поэт, везде, где это вообще было можно, глубоко чувствовал гармонию, стройность, красоту и в мире органическом, и в отдельных минералах, и в обнажениях скал, и в целых ландшафтах. Снимки с его собственноручных рисунков можно найти в опубликованном Академией Естествоиспытателей в Галле юбилейном томе: *Goethe als Seher und Erforscher der Natur*, где указано и на его изобразительные способности.

сомнения чувствовал несовершенство методов, которыми он располагал.

Мое краткое вступление к последующим докладам закончу выдержкой из одной геологической работы Гете.

„Нужно помнить“, говорит он, „что попытки разрешить загадки природы приводят в сущности к конфликту между наблюдением и мышлением. Наблюдение дает нам сразу полное представление об объекте, а мышление хочет по своему доказать и разобрать, каким образом мог и должен был получиться данный объект. Не будучи в состоянии в этом разобраться, мышление призывает себе на помощь воображение, и таким образом постепенно возникают рассуждения, которые приводят нас обратно к наблюдению, более внимательному, более углубленному... Пусть последующие исследователи повторят наши наблюдения, дадут более точную характеристику отдельных частей, резче очертят окружающие объект условия... и, таким образом, содеянное их предками усовершенствуют или, выражаясь менее вежливо, исправят“.

Акад. Н. И. БУХАРИН

Гете и его историческое значение

Фигура Гете стоит в веках, как монументальный памятник исполинских размеров, *aere perennius, pyramidum altius*. В истории человечества, мучительной и кровавой, в истории вечного напряжения, творческих усилий и классовой борьбы, немного таких колоссальных гениев, которые, отражая какую-либо крутую историческую эпоху, нетленны, живы, современны, „вечны“. Они стоят на великих исторических магистралях, как действенные символы сложных общественных комплексов, как живые вехи, как знаменосцы, как ослепительные прожекторы, освещающие дальнейший путь. Германия, которая на историческом перевале конца XVIII и начала XIX века, едва выкарабкиваясь, под пинками истории, из захолустного и провинциального европейского болота, стала плацдармом международных переворотов и глубоких внутренних потрясений, дала почти одновременно трех замечательнейших идеологических вождей, настоящих титанов человеческого творчества. Это — Бетховен, Гете, Гегель. По универсальности своего гения, по напряженности и интенсивности своего творчества, по сходству внутренней логики этого творчества, по громадности своего исторического влияния, они — дети одной матери. Этой матерью была Великая Французская революция. Ее торжественные и могущественные ритмы, победные марши, ее динамическая мощь звучат в творениях величайшего композитора, величайшего поэта и величайшего философа буржуазии. Музыка „Феноменологии Духа“, философия „Фауста“ и логика героических симфоний Бетховена совпадают по своему общественно-культурному, социально-классовому существу. Это кульминационные точки, грани, пределы, до которых поднималась буржуазия в периоды наибольшего творческого кипения. Это — самые блистательные

ее представители. И именно поэтому они имеют тенденцию какими-то своими элементами выйти за пределы буржуазного кругозора. Именно поэтому их можно „поставить на ноги“. Именно поэтому их творения и образы суть „вековые“ образы, которые еще долго будут жить, несмотря на физическую смерть их творцов и историческую гибель тех материальных общественных условий и тех эпох, идеальным отображением которых они являлись.

I. Эпоха

На грани XVIII—XIX веков Германия представляла собой медвежий угол Европы, расположенный в стороне от основного тракта, от большой дороги исторического развития: Англия, а затем Франция — держали в своих руках ключи истории. В Германии царило настоящее средневековье. Страна, экономически ослабевшая с изменением морских торговых путей, еще не оправилась от Тридцатилетней войны, когда ее земли попирались полчищами солдат Тилли и Валленштейна, Густава-Адольфа и Конде, князей светских и духовных, которые с одинаковым усердием грабили и выжигали города, опустошали деревни и превратили огромные территории в чумные очаги запустения и нищеты. Страна потеряла $\frac{3}{4}$ своего населения. В Пфальце было выбито и вымерло более 90%. Цветущие вольные торговые города пошли ко дну. Великая Ганза почти добита. Крупнейшие капиталистические фирмы, вроде Фуггеров, были подорваны. Вестфальский мир (1648) был заключен на дымящихся развалинах. Этот „мир“ создал порядок, в основе своей продержавшийся до французской революции: он был сметен лишь ураганом наполеоновских войн. Семилетняя война (1756—1763) повторно опустошила Германию, покрытую вдоль и поперек кровавыми рубцами тридцатилетнего лихолетья: рана на рану, рубец на рубец. Жалкая экономика, с заглушенными и примятыми, полураздавленными центрами капиталистического развития и подорванным бюргерством. Внизу, в основании социальной пирамиды — разоренное, ограбленное крепостное крестьянство, подчиненное телом и душой „откупщику“ и административной саранче. Еще Общеземское Прусское Уложение 1794 г. (*Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten*) цинически-наивно фиксировало по параграфам проклятие, нависшее над тружениками:

„§ 125. Особенно помещик должен заботиться о том, чтобы дети его подданных получали доброе и христианское воспитание“.

„§ 133. Подданные обязаны по отношению к своему помещику верностью, уважением и послушанием“.

„§ 134. Они несут в его пользу барщины и платежи, как подробно о сем следует ниже“.

„§ 152. Если где до сих пор помещикам разрешалось передавать подданных вместе с их дворами друг другу, там и впредь оставаться по-старому“.

„§ 227. Ленивую, не подчиняющуюся порядку и строптивую дворню помещик может понуждать к выполнению долга умеренными наказаниями. Это право он может передавать своим арендаторам и служащим по хозяйству“.

„Прибавление. § 105. Наказание палками по закону не полагается. Разрешается применение ременной плети, именно умеренное число ударов по спине через платье“.

Крепостной труд, „ременная плеть“, христианско-германская патриархальность быта находили свое адекватное выражение в политической надстройке страны. Со времени Вестфальского мира Германия была разбита на 300 слишком суверенных „государств“ и значительно более 1000 полусуверенных рыцарских имений. Эти иногда крошечные политические единицы („бургграфство Рейнек состояло из двух дворов и мельницы, и под скипетром бургграфа находилось 12 подданных и один еврей“) чувствовали себя настоящими „дворами“: каждый князек хотел быть маленьким Людовиком XIV, иметь свой роскошный Версаль, свою прелестную маркизу де-Помпадур, своих придворных шутов, своих лейб-поэтов, своих министров и — прежде всего — свою полицию и армию. Полиция была крайне разнообразна: горная и земледельческая, охотничья и рыболовная, фабричная и торговая, „культурная“ и церковная — смотря по типу данного княжества, „пользы и нужды“ которого она должна была охранять. Армия служила прямым и непосредственным объектом купли-продажи: князьки-помещики „по-рыцарски“ продавали пуды живого солдатского мяса за гульдены и на сроки другим государствам, — и германским, и не-германским: Франции, Голландии, Англии. Помимо систематической эксплуатации крепостных, продажа армий, выкола-

чивание налогов и таможенных сборов, учреждение монополий и практика мошеннических лотерей — составляли основные статьи доходного бюджета этих маленьких, грубых, невежественных и претенциозных „государей-помещиков“. XVII и XVIII века были периодами чрезвычайно медленного экономического прогресса, которому войны наносили сокрушающие удары, а политическая раздробленность служила железными оковами. Карабкаясь на четвереньках, капитализм медленно проползал вперед. Но вся обстановка была такова, что прогрессивное бюргерство было связано путами феодального режима и феодальной мелкопоместной государственной черезполосицей. Его интересы и вся его ориентация были направлены против крепостничества, дворянского засилья, княжеских привилегий, всех рога-ток, стоявших на путях и перепутьях капиталистического развития. Однако оно было бессильно; его спинной хребет — захиревшие городские торговые общины — был перебит; его мощь подорвана. Оно не могло быть тем „третьим сословием“, которое во Франции стало из „ничего“ „всем“. Оно на каждом шагу зависело от дворянских зубров в шитых золотом комзолах, от князьков, которые — после великого разоренья Тридцатилетней войны — создали наиболее могущественные центры своего владычества на окраинах „Священной Римской Империи“, в Австрии и, прежде всего, в Пруссии. Попытки „просвещенного абсолютизма“ отдавать дань модному кокетству с науками и искусствами были внешней полировкой когтей феодального хищничества, пытавшегося стянуть и централизовать свои силы на феодальной основе. Они сопровождались совершенно исключительным сервиллизмом, „собачьим пресмыкательством“ значительной части образованной бюргерской интеллигенции и грубым солдафонским издевательством князей. Позднейшие буржуазные историки поют дифирамбы „Великому“ „Фрицу“ и его славным предшественникам; но разве, в самом деле, неизвестно, что Фридрих-Вильгельм Первый конфисковал деньги Берлинской Академии наук, чтобы выплатить жалованье своим придворным шутам? Разве неизвестно, что он заставил франкфуртских профессоров разыграть комедию словесного турнира под угрозой наказания палками? Разве неизвестно, что философ Вольф в двадцать четыре часа, под угрозой повешения, был выслан из пределов Пруссии за философские положения, показавшиеся еретическими сиятельному правителю? Разве

неизвестно, далее, что „сам“ „Великий“ „старый Фриц“, так долго и упорно кокетничавший с Вольтером, за его спиной жаловался, что поддержка такого шута обходится ему слишком дорого? Разве неизвестно, наконец, что Клопшток должен был бежать в Данию, Гердер — в Россию, Винкельман — в Саксонию и затем в Италию? Винкельман, этот блестящий историк искусства, заявлял, что предпочел бы родиться в Турции, — таков был режим „просвещенного абсолютизма“ пруссаков.

При таком сложении классовых сил внутри Германии, загремел и зарокотал великолепный вулкан французской революции. Мощные, ослепительные, разящие ее лучи зажгли пылкие бюргерские сердца. Влияние на умы огромное. Точно в запущенной, грязной и прокуренной комнате, с затхлым и спертым воздухом, вдруг раскрылось настежь окно, за которым — лес и пенье птиц, откуда бурной струей ворвался свежий целительный воздух. Но бессилие буржуазии лишило ее политической действительности: зазвенели мечи, заблестели латы, засверкали щиты; восстали титаны, вихрем пронеслись с воинственными песнями валькирии, прозвучали удары грома и засияли молнии. Но — увы! — это все было в облаках идеологии, в тумане понятий и образов, в царстве мыслей и чувств, которые так и остались сокращенными рефлексамии действия, его эмбрионами, навеки сморщенными в силу внутренней классовой немоши свсих носителей. Между тем, во Франции гремели настоящие громы, и лилась настоящая, красная и горячая кровь. Классовая борьба развертывалась с поразительной ожесточенностью, и монтаньярам приходилось в героических усилиях обороняться на тысячах фронтов. Ножи „святой матери — гильотины“, напряженность борьбы, плебейство у власти стали уже пугать немецкое бюргерство, воплощавшее „Bildung“ и кое-какое „Besitz. К его бессилию присоединился его классовый испуг: Клопшток, начавший с оды Генеральным Штатам и получивший звание гражданина Франции, в 93 году уже проклинает „кровавую“ свободу; Виланд, воспевавший Национальное собрание, не может спокойно думать „об этих миллионах законодателей — плотников, мясников, портных“; и даже Шиллер спешит отречься от звания французского гражданина, которое ему дала победоносная революция за его „Разбойников“.

Эта двойственность отношения к французской революции со стороны немецкого бюргерства еще более осложнилась даль-

нейшим развитием европейских событий. Тирмидорианский переворот, первый консул, император Наполеон вместо якобинца Робеспьера. Эра великих войн. Снова Германия стала плацдармом кровавых военных сеч. Массовые армии всех европейских стран, разноцветные мундиры и знамена всех государств, смертоносное боевое оружие бесконечных полков лавой хлынули на территорию Германии. Огромные исторические „битвы народов“ разыгрывались на ее вытопанных полях. Одна за другой менялись группировки сил, одна коалиция сменяла другую. Наполеон, как демон, в руках которого лежали ключи исторической судьбы (так он представлялся многим, в том числе и Гете) — опрокидывал царства и мечом войны разрубал жилистые феодальные узлы, дерзко перекраивал политическую карту Европы, сажал королями своих маршалов „без роду, без племени“, женил их на принцессах крови, плевал на старинные и священные традиции, к ужасу богобоязненных католиков заставил самого святейшего папу подчиниться своей воле. Легионы Франции сдирали коросту дворянско-поповских привилегий, рубили устои крепостного права, вводили „кодекс Наполеона“, насильственно выжигали сыпь мелких княжеств, экспроприруя мелкопоместных государей в пользу крупных вассалов императора из бывших якобинцев. Но диктатура Наполеона в Германии, расчищая дорогу капиталу, означала, с другой стороны, ее национальное порабощение. Военные поборы, бесцеремонные и жестокие контрибуции, перекладываемые и на массы, были экономической подосновой антифранцузских течений. Немецкая буржуазия вырастала, в исторической суматохе и в грохоте сражений, в известную национальную силу с лозунгом объединения Германии и избавления „нации“ от „поработителя“: родился страстный германский патриотизм, который нашел свое наиболее пламенное выражение в „Речах к германскому народу“ Фихте. Однако, и здесь сочетание классовых сил привело к своеобразным результатам: слабость буржуазии и ее низменная трусость, которая при данных исторических условиях была ее необходимым социальным свойством, привели к блоку с помещиками и князьями, возглавившими борьбу с Наполеоном. Буржуазный патриотизм оказался объективно на службе юнкерства, от которого на десятки верст несло кнутом и контр-революционной конюшней. „Освобождение Европы“ от „тирании Бонапарта“ означало таким образом общеевропей-

скую реакцию, „Священный Союз“ миропомазанных монархических жандармов, „Deutscher Bund“ с 38 государствами в Германии, универсальное господство юнкерства и гегемонию Пруссии, этой высокомерной, заносчивой и тупой помещичьей родовитой военщины. Понадобились последующие революции (1848, 1918), в которых уже пролетариат вырывал гнилые и ядовитые зубы крепостнических остатков в стране „христианско-германских ослов“. А пока что — полузамерзшие ветераны французской армии были выбиты из златоглавой „матушки-Москвы“. Зато казацки полки всероссийского императора вошли в славный город революции, в Париж, где каждая мостовая обагрена героической кровью борцов революции, где каждый камень таит предсмертный вздох ее солдат, где всегда в угнетенных массах цветет надежда на лучшую долю.

Из этого конкретного сочетания классовых сил на громадном историческом перевале с железной неизбежностью вытекало формирование идеологии германской буржуазии. Она не могла быть ориентирована на прямую революционную борьбу ни на одной стадии развития. Она была бесплодна и бесплотна. Sturm und Drang, при всей своей абстрактной тираномахии, истекал в слезах и умилениях, чтобы разрядиться выстрелом плаксивого самоубийцы Вертера. Действительная и реальная казнь Людовика вызвала припадок испуга у смиренных немецких монархоборцов: их кинжалы оказались картонными и промокшими от слез бессилия и испуга. Реальные интересы вызревающего в недрах феодализма капиталистического общества были сублимированы в абстрактных категориях самых верхних идеологических этажей, при громадном разрыве между „теорией“ и „практикой“, разрыве, который сам объяснялся материальными общественными условиями той эпохи. Наполеон реально владел во имя капитала реальным миром, Фихте — „овладевал“ им, объявляя весь мир продуктом своего творчества, а Кант выражал реальное бессилие немецкой буржуазии в учении о принципиальной непознаваемости идеальных „вещей в себе“. Но это расхождение между теорией и практикой вовсе не абсолютно. Рассматриваемый период был периодом создания новой, буржуазной „семейной литературы“, соответствующей новому быту: против ложно-классических придворных трагедий, дворцовых од, салонного тона, этикета „порядочного общества“ выстроились добродетели филистера, „дела и дни“ нового

буржуазного человека, быт „Германа и Доротеи“. С другой стороны, эпоха выдвинула людей, которые схватили ее и в самых высоких, всемирно-исторических, определениях. Таким человеком был Гете. Таким был Бетховен. Таким был Гегель. Гете не раз и не два разражался выходками против французской революции: в „Венецианских эпиграммах“, в „Die Aufgeregten“, в „Гражданине-генерале“, в „Германе и Доротее“ и ряде других. Но все эти мелкие змеиные яйца, которые Гете откладывал в большом количестве на потребу своего окружения, не помешали ему все же понять всемирно-исторический характер событий. В день поражения немцев при Вальми Гете заявил: „С нынешнего дня возникает новая эпоха всемирной истории, и вы можете сказать, что присутствовали при ее зарождении“. А в своем самом глубоком творении, которое является концентратом всей его мысли, в „Фаусте“, Гете дал поэтическую энциклопедию своего времени, художественно-философскую поэму, где в несравненной форме, с проникновением гения во все стороны бытия, он — *volens nolens* — воспекает великую эпоху, и где его орлиный взгляд уже прозревает контуры всемирного освобождения человечества.

II. Гений

В своей статье: „Немецкий социализм в стихах и прозе“ Ф. Энгельс писал о Гете:

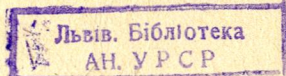
„Гете в своих произведениях двойко относится к немецкому обществу своего времени. Он враждебен ему; оно противно ему, и он пытается бежать от него, как в „Ифигении“ и вообще во время итальянского путешествия; он восстает против него, как Геф, Прометей и Фауст, осыпает его горькой насмешкой Мефистофеля. Или он, напротив, дружит с ним, примиряется с ним, как в большинстве его „Кротких ксений“ и во многих прозаических произведениях, прославляет его, как в „Маскараде“, защищает его от нападения на него исторического движения, особенно во всех произведениях, где он говорит о французской революции. Дело не в том, что Гете признает будто бы лишь отдельные стороны немецкой жизни в противоположность другим сторонам, которые ему враждебны. Часто это только проявление его различных настроений; в нем происходит борьба

между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и опасливым сыном франкфуртского патриция, либо веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключить с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так, Гете то колоссально велик, то мелочен; то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер. И Гете не в силах победить немецкое убожество; напротив, оно побеждает его; и эта победа убожества (*misère*) над величайшим немцем является лучшим доказательством того, что „изнутри“ его вообще нельзя победить. Гете был слишком универсален, слишком активная натура, слишком плоть, чтобы искать спасения от убожества в шиллеровском бегстве к кантовскому идеалу; он был слишком пронизателен, чтобы не видеть, что это бегство в конце концов сводилось к замене плоского убожества высокопарным. Его темперамент, его силы, все его духовное направление толкали его к практической жизни, а практическая жизнь, которая его окружала, была жалка. Перед этой дилеммой — существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать, и все же быть прикованным к ней, как к единственной, в которой он мог действовать, — перед этой дилеммой Гете находился постоянно, и чем старше он становился, тем все больше отступал могучий поэт, *de guerre lasse*, перед незначительным веймарским министром. Мы не упрекаем Гете, как это делают Берне, Менцель, за то, что он не был либерален, а за то, что временами он мог быть филистером; мы не упрекаем его и за то, что он не был способен на энтузиазм во имя немецкой свободы, а за то, что свое эстетическое чувство он приносил в жертву филистерскому страху перед всяким современным великим историческим движением; не за то, что он был придворным, а за то, что в то время, когда Наполеон очищал огромные Авгиевы конюшни Германии, он мог с торжественной серьезностью заниматься ничтожнейшими делами и *menus plaisirs* ничтожнейшего немецкого двора“.

Эта замечательная характеристика, с такой исчерпывающей энергией подчеркивающая внутреннюю расколотость „целост-

ного "Гете, совпадает с характеристикой двойственного положения немецкого бюргерства той эпохи. Другой, более поздний, гениальный поэт, Г. Гейне, зажженный энтузиазмом, как свеча перед великолепным образом „короля поэтов“, олимпийского Зевса-громовержца, в восторге писал о нем: „Этот гордый стан никогда не сгибался в христианском смиреннии червя; эти глаза не взирали грешно-боязливо, набожно или с елейным умилением; они были спокойны, как у какого-то божества... Взгляд Гете оставался таким же божественным в глубокой старости, каким он был в юности. Время покрыло снегом его голову, но не могло согнуть ее. Он носил ее все также гордо и высоко и, когда он говорил, он словно рос, а когда он простирали руку, то казалось, будто он может указывать звездам их пути на небе“. Увы! „Последний романтик“ ошибался и грешил против исторической правды. „Гордый стан“ Гете сгибался не раз, и божественный рот строил тоже не раз лицемерные почтительные улыбки перед князьями мира сего. Здесь Гете был полной противоположностью республиканцу Бетховену. Известна историческая сцена, когда в Теплице, при встрече с Францем, Гете кланялся до земли, между тем как Бетховен действительно гордо нес свою львиную голову с уверенным презрением к монархам. Современные буржуазные софисты, в своих монотонных панегириках желающие присвоить себе всего Гете целиком „примилив“ все непримиримые противоречия, объявляют такой *προσόντης* высшей мудростью. Так, например, Friedrich Gundolf обвиняет именно Бетховена в том, что музыкальный „титан“ „стрелял из пушек гения по воробьям повседневного быта“ (nach Spatzen des Alltags), а Гете „был в этом случае не только свободнее [! Н. Б.] и значительнее, но и глубже...“¹ Если свободу от убеждений о свободе считать истинной свободой и если глубину рабопепных поклонов возводить в сан глубины характера и даже мировоззрения, то это так. Но эти предпосылки суть предпосылки растленной и безпринципной буржуазии капиталистического fin de siècle'я. У Гете действительно было глубокое и трагическое внутреннее противоречие. Оно гнездилося в конфликте между его колоссальным мировым гением и гундольфовскими „воробьями повседневного быта“, этими напыщенными германскими провинциальными воробьями, которые

¹ Freidrich Gundolf: Goethe. Georg Bondi. Berlin. 1920. S. 548.



12.224.

выклеивали ему его орлиные очи, заставляли низкопоклонничать, приводили к компромиссам, тупой ограниченности, к восхвалению в стройных строфах жалкой мудрости Spiessbürger'a, к преклонению перед „уютom“, „домовитостью“, спокойствием мещан, к животному испугу собственника перед плебеями, перед „большинством“, якобы состоящим из „немногих сильных вожakov, из плутов, которые приспособляются, из слабых, которые ассимилируются, и из массы, которая ковыляет за ними, не зная и в отдаленной степени, чего она хочет“. Гете отлично сознавал всю ничтожную ценность золоченого мелкопоместного уклада и его бюргерского бессильного союзника. Но он в жизни еще больше боялся потрясений, трагических социальных коллизий, неизвестного будущего. *Noli tangere circulos meos!* Не трогай моих кругов! О французской революции он писал:

Franztum drängt in diesen verworrenen Tagen, wie ehemals
Luthertum es getan, ruhige Bildung zurück.
(В эти смутные дни, как некогда лютеранцы,
Спокойную мудрость наук вытесняет безумный француз).

Он не стеснялся в „*Zahme Xenien*“ объявить себя даже роялистом:

Warum ich Royaliste bin,
Das ist sehr simpel:
Als Poet fand ich Ruhms Gewinn,
Freie Segel, freie Wimpel.

Он, наконец, пытался не раз подвести здесь и философский фундамент. Так, он говорил Эккерману: „Вы знаете, как радуюсь я каждому совершенствованию, которое сулит нам будущее. Но мне противно все насильственное, всякие скачки, потому что это не сообразно с природой“. Он демонстративно записывает в своих дневниках в горячие дни осени 1806 года: „*Astronomica zur Ableitung der Politicorum*“, чтобы показать свою предельную удаленность от „злости дня“: смотреть на звезды, когда бушуют политические страсти, хранить „внутренний мир“, который дороже всего, — вот его пароль. Здесь Гете обнаруживает трусливо-консервативную сторону германского бюргерства, гениальным выразителем которого он был. Совершенно пустым и вульгарно-апологетическим является поэтому утверждение Гундольфа, будто Гете был „свободным индивидуумом“, а не „представителем сословия или партии

против учреждений, связанных с другой партией или правительством".¹ Но одновременно нельзя не протестовать против попытки Houston'a Stewart'a Chamberlain'a, который во что бы то ни стало хочет причесать Гете под дворянина и возвести его в сан „индо-арийца“ и „первобытного германца“ по всем правилам реакционной и человеконенавистнической „расовой теории“, которая подводит quasi-научный базис под тевтонского сверхчеловека, т. е. прусского юнкера *pur sang*, выступающего в творениях своих идеологов под этим своеобразным псевдонимом.²

Однако, наряду с этой мелкотравчатой стороной есть другие, великие, черты, которые делают Гете, Гете Прометея и Фауста, действительным колоссом мировой литературы. У Гете было точно два мира: маленький мир дрянного быта, с его филистерскими радостями и заботами, с его жирным довольством, с его идеалом „давить“ на народ, но не „угнетать“ его (*drücken, nicht unterdrücken*), как выражается одна просвещенная гетевская графиня (в „*Die Aufgeregten*“), с его тупостью и коротким горизонтом, этот микрокосм, которому соответствует поэтическая микрология даровитого веймарского министра и испуганного революцией буржуа. И другой мир, большой, огромный: мировая арена, всемирная история, восходящая звезда молодого капитализма, борения освобождающегося от феодальных кандалов нового человека, бюргера, его техника, его наука, его разум, его движение вперед, его блестящие перспективы, радуга его надежд, небывалый творческий порыв, которого не знали ни Средние века, ни глубокая и седая древность, ни Эллада, ни Индия, ни Вавилон. Это макрокосм, здесь слышна железная поступь мирового процесса, здесь раскинуты необъятные горизонты, здесь историческое общество „вонзает зубы в святую мишень“ великой матери-природы, здесь развертывается борьба со стихиями. Минуты сменяются эпохами, жалкие „индивидуумы“ — персонифицированными общественными укладами, проблемы домашнего уюта — величайшими проблемами культуры. Здесь новому миру и новому времени раскрывается неизмеримое богатство Космоса, горизонты внезапно

¹ Gundolf, I, с.

² Houston Stewart Chamberlain. Goethe. Verl. von F. Bruckman. München, 1912. S. 310.

расширяются, у познания расправляются могучие крылья. Все масштабы вырастают, встают, как проснувшиеся великаны; пафос огромной исторической перемены, нового рождающегося строя, новой эпохи, новых ритмов жизни слышится в гениальных поэмах художника, в могучем творчестве ученого, в страстных муках нового человека. Это — макрология капитализма, его опоэтизированное выражение, его идеология, как величайшей прогрессивной силы своего времени, героическая песня его юности и зреющего мужества, которая теперь, в наши дни, уже не может служить ему, старому, изжившему себя, умирающему разбойнику. Здесь действуют титаны: богоборцы, тираномахи, протестанты, мученики борьбы и творчества, великие отрицатели и великие созидатели. Здесь, сверкая всеми красками, зажигается основная лейт-линия исторического движения восходящего капитализма: не тактика и стратегия трусливого германского бюргера, а могучие общественные передвижки, „демон“ капитализма, персонифицированные законы его движения, его могучий рост, втягивающий всю поверхность земли в водовороты новейшей истории. Здесь ограниченно-исторический конфликт между молодым капитализмом и феодальными препонами представляется как „вековечный“ конфликт между индивидуумом и обществом и разрастается в еще более грандиозный конфликт между „человеком“ и „Космосом“: Гец-„Железная Рука“ перерастает в Прометея и Фауста. Слабая дифференцированность классовых отношений еще скрывала пружины кровавых противоречий капитализма, и не звучал еще на весь мир голос его грядущих могильщиков. Борьба была в основном повернута против старых оков, и проблема „капитал — пролетариат“ на германской почве не стояла еще, как проблема проблем. Скептический яд, отравы сомнений еще не вползли в головы идеологов, ибо материальные недра общества не раскрыли еще своих ужасающих ран. Оптимизм, жизнь, познание, творчество, рост — это черты восходящего класса, носителей восходящего способа производства, именинника новой истории.

Величайшие литературные произведения многосторонне выражают „дух эпохи“. При всем своем внутреннем единстве они воплощают огромное многообразие, все богатство времени, всю переливчатую чешую событий, вереницу жизненных коллизий, череду противоречий, типов, проблем. Это — не ходульные

абстракции формальной логики, иссохшие мумии тоскливо-скупного школьного мышления. Это — великие энциклопедии эпохи, где предельно-широкие типы насыщены и конкретны, несмотря на свою „абстрактность“, где бьют горячие родники жизни, где сверкает всеми оттенками, нюансами и переходами перламутровая ткань общественного бытия и становления, где движение общественной материи и ее „духовного“ выражения сгущено в замечательных идеологических конденсаторах несравненного искусства.

Гете, как нельзя более, подходил к такого типа творцам. Георг Зиммель очень удачно говорит, что „это бытие более всего соответствовало лейбницевской монаде: совершенное зеркало мира, которое, однако, творит (hervorbringt) свои образы, как развитие своих собственных сил“.¹ Удивительна универсальность этого гения: оккультные „науки“ и тайные занятия каббалистической магией, ведовством, алхимией; связь с экстатическими христианскими мистиками; философия — Бэкон и Спиноза, Гольбах и Кант, Шеллинг и Гегель; физика и химия, геология и минералогия, биология и физиология; метеорология, ботаника; глубокие ключи народной мудрости, история (Гердер); литература всех времен и народов, Запада и Востока, от фантастических мифов Индии, ярких и цветистых ковров Персии, стройных форм Эллады, германских саг до Шекспира и Байрона; изобразительные искусства, архитектура, театр, музыка, государственно-административная работа, педагогика, хозяйство, техника — все входило в круг творческих интересов, неустанной работы, пытливой мысли, напряженных исканий.

... Чтоб силу понять,
Коей движется мир и живет все живое,
Как обниму я тебя, необъятная?
Тайный родник бытия
Где я найду? Он могучей струей
Небо и землю поит...

И при всей этой интеллектуальной многоцветности, при всем сиянии благородного ума — необычайно-богатая и бурная эмоциональная жизнь, с мощными стихийными порывами страстной и чувственной натуры, которая способна переживать весь мир, как одну величественную и трагическую симфонию любви. Не-

¹ Georg Simmel. Goethe, 5. Aufl. 1923. Verl. von Klinkhardt und Biermann. S. 3.

даром у Наполеона при встрече с Гете невольно вырвалось восклицание: "Voilà un homme!". Это был действительно „человек“ в том смысле, что здесь, в этой удивительной голове, сошлись, сочетались, встретились и завязались в один узел бесконечные нити разнообразнейших проблем и достижений, интересов и стремлений, мыслей и чувств, образов и понятий громадной исторической эпохи, преемственность мировых культур, порывы в грядущее. Этот исключительный универсализм, в сущности, выдвигал Гете далеко за рамки его „родной“ немецкой почвы. В своем „макрокосме“ Гете был настоящим „гражданином мира“, и именно поэтому он мог схватывать эпоху в ее целостных и мощных определениях.

Как философ, Гете подходил к таким проблемным постановкам, которые выдвигают его в первые ряды самых крупных мыслителей. При крайней разносторонности его пенящегося и играющего ума, который восторженно созерцал и хоромы звезд, и римские руины, откликался на „Молот Вещь“ и пантеизм Спинозы, засматривал во все щели бытия, во все поры общества и природы, нетрудно найти гетерогенные философские мотивы и раздражаться упреками по поводу непричесанности всех посылок и выводов. И здесь у Гете можно различать большие и малые круги, гениальные прозрения и теологические филистерские привески. У него были, несомненно, элементы мировоззрения, которые некоторыми своими гранями соприкасаются с мировоззрением молодого класса нашей эпохи, пролетариата, и нового уклада, социализма: это говорит молодость, энергия, жажда творчества, уверенность в победе. Если гниющий капитализм сегодняшнего дня объявляет внешний миг иллюзией, сном, фикцией, то Гете реагирует на подобные взгляды блестящей, резкой и гневной отповедью.

„Этот Гете—сообщает Шопенгауэр—был до такой степени реалистом, что прямо неспособен был понять, что объекты как таковые, существуют лишь постольку, поскольку они представляются познающим субъектом. „Что? — сказал он мне раз, взглянув на меня своими глазами Юпитера, — свет существует, по вашему, лишь постольку вы видите его? Нет! Вас не было бы, если бы свет вас не видел!“

Так решал он проблему реальности внешнего мира. Но он так же смело решал и смежный теоретико-познавательный

вопрос, вопрос о познаваемости внешнего мира, о границах познания, о „вещах в себе“ Канта. В настоящее время стало модным делать из Гете кантианца на том „достаточном“ основании, что Гете считал Канта великим философом. Но нет ничего более легкомысленного, чем это утверждение. „Я обязан критической и идеалистической философии тем, — писал Гете Шульцу — что она побудила меня обратить внимание на меня самого...; однако, она никогда не доходит до объекта“. Это — разящий удар и признание пропасти между Гете и Кантом. „Ignorabimus“ по отношению к миру — Гете отвергал со всей мужественной решительностью интеллекта. Он, напр., писал Мерку:

Sieh, so ist Natur ein Buch lebendig,
Unverstanden, doch nicht unverständlich.

В других местах: „в природе нет такой тайны, которую она где-нибудь не раскрыла бы перед глазами внимательного наблюдателя“; „письмена природы все можно прочесть“; „как далеко и как глубоко в состоянии человеческого дух проникнуть в свою и его [мира] тайны, этого никогда нельзя ни определять, ни ограничивать“; „если хочешь уйти в бесконечное, иди только во все стороны в конечном“. Это глубоко, верно, великолепно. Замечательно отвечает Гете и на дальнейший вопрос, о критерии истинности знания. „В искусстве и науке — пишет он — так же, как и в практической деятельности, все сводится к тому, чтобы объекты отчетливо воспринимались и трактовались сообразно своей природе“. Здесь, следовательно, критерием истины берется соответствие с объектом. Но Гете знает и проверку практикой. Более того, он необычайно ярко, последовательно и горячо защищает этот тезис: „истинно — только плодотворное“; „моим пробным камнем для всякой теории является практика“; „мышление и деятельность, деятельность и мышление — вот итог всей мудрости“; „в начале Дело было“, (а не „Слово“, не „Λόγος“, не „Разум“, а именно „Дело“, вернее „Деяние“, „die Tat“, „πράγμα“); „наука должна бы действовать на внешний мир только путем повышенной практики“. Все это, как небо от земли, далеко от кантианства и от идей „Критики чистого разума“. Что же касается „Критики практического разума“, то он писал о ней Гердеру: „...Кант, затратив долгую человеческую жизнь на то, чтобы очистить свой философский

плащ от разного рода грязных предрассудков, измарал его позорным пятном „первородного греха“ — приманка и для христиан целовать его подол“. Язык терпкий, жесткий, колючий, злой, почти революционный. Пожалуй, еще более примечательными являются суждения Гете относительно общественного характера процесса познания, где у него налицо прямой стык между теорией познания и некоторыми изумительными общественно-историческими взглядами. „Природа потому неисследима — пишет он Шиллеру — что один человек не в состоянии понять ее, все человечество могло бы понять ее. Но так как это милое человечество никогда не бывает в своей совокупности (beysammen), то природе так хорошо и удается играть с нами в прятки“. „Лишь все люди вместе познают природу“. „Людей надо рассматривать, как органы их века,двигающиеся большей частью бессознательно“. „Что носится в воздухе и чего требует время, то может возникнуть одновременно в ста головах, без всякого заимствования“. „Некоторые идеи созревают в определенные эпохи; так плоды одновременно падают в разных садах“. „Многие мысли вырастают из общей культуры, как цветы из зеленых веток. В период цветения повсюду распускаются розы“. Конечно, Гете не видит и не понимает проблемы классов. Конечно, он здесь не расчленяет ни общества, ни эпохи. Но при всем том нельзя не признать с исторической точки зрения всю полновесность его гениальных философских афоризмов.

К числу замечательных философских идей Гете следует отнести и зародыши диалектики. Идеи закономерности, всеобщей связи, движения, противоречивости, взаимопроникновения противоречивых моментов, перехода их друг в друга и т. д. мы находим и здесь. „Разум имеет дело со становящимися, рассудок — со ставшим“. „Динамический способ представления: становящееся, действенное, возбуждающее, поступательно-движущееся, производящее“. „Противоположность крайностей, возникая в некотором единстве, тем самым создает возможность синтеза“. „Диалектика — развитие духа противоречия, который дан человеку, чтобы он учился познавать различие вещей“. „Все одинаково, все неодинаково; все полезно и все вредно, все говорит и все немо, все разумно и все неразумно. И то, что утверждают об отдельном предмете, часто бывает противоречивым“. „Все замечаемые нами в опыте дей-

ствия... связаны между собой полной непрерывностью, переходя одно в другое; они идут волнами от первого до последнего. Что их разделяют, противопоставляют, смешивают, это неизбежно; но благодаря этому в науках должно было возникнуть безграничное противоречие. Косный, все разграничивающий педантизм и все сливающий мистицизм приносят оба одинаковый вред". „Люди обладают вообще только понятием рядоположности и совместности, не чувством внедрения и взаимопроникновения...“¹ Эти и аналогичные суждения драгоценными, изумрудными блестками рассеяны повсюду. Идея целого, с качественными особенностями, соотношение между общим и частным, абстрактным и конкретным, „внешним“ и „внутренним“, количеством и качеством и ряд других проблем, вскрытие некоторых основных ошибок механического материализма — все это сложено в кованной философской сокровищнице мыслителя.

Однако, и в этой области, на горных вершинах философии, Гете двоился так же, как во всей своей жизненной ориентации. И здесь он отдавал низкие поклоны фетишам и небесным кумирам, как в области более низменной — ничтожным земным князьям. Он, этот жадный до жизни эпикуреец, этот прославленный великолепный „язычник“, этот *magister in eroticis*, которого Мечников в своих „Этюдах оптимизма“ приводит, как физиологический образец здоровой и полнокровной чувственности, набожно превращает своего любимца Спинозу, с его „математическо-раввинской культурой, в христианского теиста („*theissimus und christianissimus*“), всячески отрешивается от материализма и атеизма, проламывает брешь в своих же собственных положениях. В целом Гете — пантеистический гилозоист, у которого художественная интуиция и рациональное познание, чувственный опыт и опосредствованное знание сливаются в одно органическое целое необычайной энергии и целеустремленности. Но своеобразное эстетическое переживание у него доминирует. Отсюда целый ряд следствий. На самом деле никогда не бывает беспримесного „чистого ощущения“: в его порах всегда гнездится аккумулированный опыт, „опосредствованное знание“, „культура“. И точно также нет

¹ Большинство цитат мы берем по переводу тов. В. О. Лихтенштадта, из его книги: „Гете“. Пб., 1920.

чистого погружения в природу, „чистого созерцания“, „чистого“ переживания связи с природой и обществом, с Космосом, с коллективом. Всегда здесь налицо исторически оформленные моменты идеологии, религиозной, философской или какой-либо иной, в зависимости от общественной формации и фазы ее развития, от класса и его конкретно-исторического положения. Поэтому переживание природы, окрашенное пантеистически, имеет тенденцию перевестись на логический язык в виде действительного признания всебожества; художественный образ, олицетворяющий силу природы или ее творящую энергию, может перерасти в религиозный образ, а при определенных условиях он приводит и к признанию того или другого господствующего церковного культа. Гете довольно тонко кокетничал своим „адогматизмом“. В одном из писем к Якоби он развивает ту мысль, что, как естествоиспытатель, он — пантеист, как поэт — политеист и как нравственная личность — монотеист. Но отсюда еще один шаг — и „язычник“, „солнцепоклонник“ Гете стоит — увы! — на обоих коленях перед насквозь фальшивой церковной традицией христианства: „Я считаю — говорит он Эккерману — все четыре Евангелия совершенно подлинными, потому что в них действует отблеск возвышенного, которое исходит из личности Христа и которое так божественно, как только когда-либо божественное являлось на земле. Если меня спросят, соответствует ли моей природе воздавать Ему молитвенное почитание, то я скажу: конечно!.. Если же меня спросят, соответствует ли моей природе почитать солнце, то я опять-таки скажу: конечно!“ Это, „конечно“, гигантский шаг назад по сравнению с материалистами и другими просветителями из великой французской энциклопедии, этого грандиозного и, по своему, великолепно-дерзкого научно-философского памятника французской революции, монумента, насквозь пронизанного золотыми лучами утренней капиталистической зари. Было бы интересно проследить, как играет и танцует у Гете диалектическая звезда основных мотивов его философского мышления. Вот он борется против телеологии; он энергично бичует и преследует ее, он стремится изгнать из пределов своего мышления даже понятие причинности, ибо боится, что оно антропоморфично. Но неистово раздувая костер этой боязни, он предается интуитивному созерцанию, через него „ощущает Космос“ и на путях иррационального благополучно приходит к теологии, т. е. к наиболее грубой

и вульгарной форме телеологии. Вот он выставляет практический критерий истины, как бич против заоблачных туманов, идеалистических бредней, позорных иллюзий. Но, расширительно трактуя „практику“, „плодотворность“ и т. д., он, как много-много лет спустя школа В. Джемса, т. н. прагматизм, приходит к „плодотворности“ религиозных *soit-disant* „истин“. Вот он поднимает остро отточенный меч против бескачественных атомов механического материализма во имя объективных качеств, свойственных объективному миру; но бескачественность переходит у него в „бездущие“, серую скуку, безразличную монотонность мертвого; отсюда перескок к гилозоизму, всеобщему органицизму, и снова, в конечном счете, к религии. Вот он мечет громы и молнии против Вагнеров науки, книжных червей и педантов, рассекающих живую природу на плахе и воображающих, что механическое сложение ее омертвевших и угасших кусков даст „целое“, органическое единство, новое качество. Но, не сумев решить проблему целого и части диалектически, он — *volens-nolens* — противопоставляет рациональному познанию „созерцание“ и „погружение“, которое развилось из себя, рядом повторных потуг, иррациональное по существу непосредственное чувствование „истины“, при чем последняя сразу же взвилась на небеса. Вот он, в яростной схватке с вымученными признаками идеализма, выставляет грубо сенсуалитическое положение: „Кто не доверяет своим чувствам, тот дурак, и неизбежно превратится в умозрителя“. Но, расширяя чувство в переживание („наше изначальное ощущение, по которому мы составляем одно с природой“), как впоследствии Джемс расширил понятие опыта, он, в конце концов, начинает доверять так называемому чувству божественного, замыкая круг полярною противоположностью. Вот он, под влиянием Бэкона, объявляет войну „идолом“. Но, развязав свой „адогматизм“, т. е. признав равноправие разных позиций, он тем самым вновь реабилитирует теологию, следовательно, возводит на трон „наивысший“ принцип идолопоклонства и догматики. Так качается философский маятник Гете: от признания божественности четырех евангелий до гениальных прозрений в духе диалектики и материализма. В величавых торжественных строфах, подобных звукам мирового органа, выразил Гете всеобщую закономерность сущего:

Nach ewigen, eisernen
Grossen Gesetzen
Müssen wir alle
Unseres Daseins
Kreise vollenden.

По вечным, железным
Великим законам
Все мы должны
Бытия своего
Круги завершить.

И его „Дух Земли“, дух пламенный и беспокойный, символизирует неустанное движение материи, ее вечную диалектику:

В буре деяний, в волнах бытия,
Я поднимаюсь,
Я опускаюсь...

Смерть и рождение —

Вечное море;

Жизнь и движение

В вечном просторе...

Так на станке проходящих веков

Тку я живую одежду богов“.

Философские взгляды Гете находились в ближайшей связи с деятельностью Гете, как ученого-естествоиспытателя. Его работы в этой области, которые делают из него своеобразного, но несомненного предшественника эволюционной теории, отражают и его философское величие, и его философское филистерство одновременно. Чрезвычайно интересны его суждения об отношении философии к естествознанию и к науке вообще. „В каждом адепте опыта — а такой адепт ведь всегда, раз из него получается что-нибудь дельное, есть *philosophe sans le savoir* — я допускаю своего рода опасливость по отношению к философии, в особенности когда она проявляется так, как в настоящее время [намек на метафизическую т. н. „натурфилософию“ Н.Б.]; но эта опасливость не должна вырождаться в отвращение, а должна разрешаться в спокойную и осторожную склонность. Если этого нет, открывается, не успеешь и оглянуться, путь к филистерству, на котором хорошему уму приходится тем хуже оттого, что он так неловко избегает хорошего общества, тогда как оно и могло бы помочь ему в его стремлении“. Здесь звучит почти тот же мотив, что у Энгельса в „Диалектике природы“, где Энгельс вытаскивает на свет божий естествоиспытателей, „особенно усердно бранящих философию“ и именно поэтому становящихся „рабами самых скверных вульгаризированных остатков самых скверных философских систем“.¹ Исходя

¹ См. Архив Маркса и Энгельса, кн. II, стр. 37.

из спинозовской идеи единства и всеобщей связи природы, Гете с особенной вдумчивой пристальностью останавливался на переходных звеньях в цепи развития, на промежуточных типах, на гранях и пределах, чтобы, вскрыв их связь между собой, включить их в общую закономерность. Необходимо „созерцание различного как тождественного“; „... когда дано какое-либо явление природы, в особенности — значительное и бросающееся в глаза, не нужно останавливаться на нем, прикрепляться, прилепляться к нему, не нужно рассматривать его изолированно, а нужно осмотреться во всей природе и поискать, где проявляется нечто сходное, родственное. Ибо только из сопоставления родственного возникает мало-по-малу некоторая цельность, которая сама себя толкует и не нуждается в дальнейшем объяснении“. У Гете весь упор на качество, образ, форму, „Gestalt“, *морфэ* (самый термин „морфология“ принадлежит Гете), при явной недооценке количества, которое у него как бы отрывается от качества и познавательно зачеркивается. Отсюда у него пренебрежение к математике и почти средневековое отвращение к точным измерительным приборам, к сложным испытательным инструментам, ко всей той изумительной искусственной научной машинерии и аппаратуре, которая во все стороны удлинняет наши естественные, „натуральные“ органы чувств. Этот наивный естественно-научный „руссоизм“ приводит его к целому ряду грубейших ошибок, которые он сам, однако, считает как раз за перлы своего научного творчества.

Исходя из рассмотрения пограничных форм, Гете в „Опыте из сравнительной остеологии“ (1784) почти одновременно с Ф. Вик д'Азиром открыл межчелюстную кость у человека, связав, его таким образом с человекообразными обезьянами и включив вид *homo sapiens* в эволюционный биологический ряд. Или, как говорит Фалес во II части „Фауста“:

Gieb nach dem löblichen Verlangen,
Von vorn die Schöpfung anzufangen!
Zu raschem Wirken sei bereit!
Da regst du dich nach ew'gen Normen,
Durch tausend, abertausend Formen,
Und bis zum Menschen hast du Zeit.

Дальнейшие изыскания на этом пути привели Гете к позвоночной теории черепа (ранее Гете она была выдвинута Океном, обвинявшим Гете в плагиате, и разработана английским анатомом

Оуэном). В 1790 г. Гете выступил с „Опытом метаморфозы растений“, где различные элементы растения трактовались, как видоизменения одной основной „пра-формы“ а именно „листа“. Свои обобщения Гете сводил к тому, что генезис новых форм (а он настаивал на генетическом методе неоднократно) складывается из консервативных сил, удерживающих данную форму, и ее ломки, изменения, трансформации под влиянием внешней среды. Чрезвычайно сжато и выпукло он выразил это основное свое положение в чеканной стихотворной форме:

Alle Glieder bilden sich aus nach ew'gen Gesetzen,
 Und die seltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild.
 Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Tieres,
 Und die Weise zu leben, sie wirkt auf alle Gestalten
 Mächtig zurück. So zeigt sich fest die geordnete Bildung,
 Welche zum Wechsel sich neigt durch äusserlich wirkendes Wesen.
 (Всюду меняются способы жизни, согласно устройству,
 Всюду устройство меняется, способу жизни согласно;
 Вечный порядок божественный правит созданиями всеми,
 Вечно они изменяются, внешним покорны влияньям).

Неудивительно, что он — оригинальный и своеобразный предшественник Ламарка и Дарвина — с величайшей страстностью реагировал на исторический спор Кювье с Жоффруа Сент-Илером во Французской Академии наук, буквально вскипев всем своим организмом и заняв с пламенностью упорного борца науки место рядом с Сент-Илером в защите эволюционной идеи. Один из парадоксальнейших умов буржуазной философии, Фридрих Ницше, посылая свистящие стрелы своих эпитаграмм немецким последователям Дарвина „в защиту“ Гете, восклицал:

Deutsche, dieser Engländer
 Mittelmässige Verstände
 Nehmt ihr als „Philosophie“?
 „Darwin neben Goethe setzen
 Heisst: die Majestät verletzen,
 Majestatem genii“.

Эти оценки со стороны Ницше, философа-художника, мастера афористического стиля, биологизирующего эстета и в то же время творца бестиально-хищнической идеологии открыто агрессивного и открыто разбойнического капиталистически-юнкерского блока, вскрывают многое. Не в том дело, что здесь идет атака на относительную и традиционную узость английского

эмпиризма, черты которой были и у гениальнейшего из биологов. Дело в том, что Ницше видит суть гениальности как раз в иррациональном, в интуиции, в „органической“ реакции, противопоставляемой рациональному познанию; в такой трактовке целого, которая уводит за ворота и рассудка, и разума; в метафизическо-мистической „первосущности“, интерпретируемой по образцу платоновских идей. У Гете и здесь налицо два мотива: революционный и консервативный; непрерывность, но такая, которая начисто отрицает прерывность и голо ей противостоит; эволюция, включающая даже человека в природную цепь, но отрицание скачков, катастроф, переворотов; изменение видов, но абсолютизированный, штампованный, идеализированный „пра-тип“, „первосущность“; „целое“, а не механическая сумма частей, но такое целое, которое доступно лишь интуитивному созерцанию; качественная определенность формы, но такая, которая не имеет связи с изменениями количеств. Это последнее с необыкновенной выпуклостью проявляется в физических исследованиях Гете, и в особенности в его знаменитом „учении о цветах“ („Farbenlehre“), вызвавшем настоящий (хотя и необоснованный) восторг Гегеля. Здесь Гете удалось дать ряд правильных теорем, касающихся большей частью физиологии зрения (контрасты, дополнительные цвета и т. д.). Но его погоня за только качественной физикой, его непонимание диалектики количества и качества привели к возмущенным протестам против разложения белого цвета, что казалось ему почти кощунственным актом, и к наивной теории цветов вообще. Антипатия к „скачкам“ в особенности резко проявилась в геологии и развивалась рука об руку с отвращением к социальным переворотам, как к чему то, противоречащему природе, хотя тот же Гете является автором афоризма о естественности неестественного.

Nie war Natur und ihr lebendiges Fließen
Auf Tag und Nacht und Stunden angewiesen.
Sie bildet regelnd jegliche Gestalt,
Und selbst im Grossen ist es nicht Gewalt.

Так и в области теоретического естествознания у Гете есть своя „десница“ и своя „шуйца“, глубокие противоречия заложены в его естественно-научных воззрениях, разодранных внутренней борьбой между консервативным, теологическим, антиреволюционным хламом и ракетами самых прогрессивных взгля-

дов, которые в известной своей части навсегда вошли уже в аппаратуру человеческого знания.

Этот гигант мысли был, однако, по натуре своей, прежде всего, художник. Здесь лежала его творческая доминанта. Он весь мир воспринимал, как великое творение, которое есть само творящая сила. Божественное — это прекрасное. Прекрасен Универсум, бесконечное целое, с его мириадами светил, громадами созвездий, стройностью законов; упоительны яркие и нежные цвета, звуки и запахи; вечная завязь новых форм, вечное движение, вечное борение — великолепны; и даже человеческая трагедия, страдания и самая смерть — моменты величественных круговоротов Матери-Природы, единой и нераздельной, которая есть бог, „всеобщность“, всеобъемлющее, „все“, Allheit. Gundolf остроумно замечает, что Гердер был пантеист истории (Geschichtspantheist), тогда как Гете был пантеист природы (Naturpantheist). Но для Гете характерен эстетический „цвет“ его пантеизма, который именно поэтому должен был воплотиться в насыщенных образах, развивающих огромную силу воздействия. В своих художественных творениях Гете спрессовал могучие культурные энергии: бесконечное разнообразие ассоциаций, весь ряд предшествовавших культур, вся наука, вся философия, все искусство получили свое предельно-концентрированное выражение в огромных синтетических образах монументального творчества. Это — полотна на небосводе. Искусство Гете всеобъемлюще. Оно трагически жаждет вместить в себя весь Космос, чтобы погрузиться в нем в высочайшем эстетическом восторге. Такова эстетическая основа всего Гете: и Гете-ученого, и Гете-философа, и Гете-человека, и Гете-художника.

Богатству содержания соответствует и необычайное богатство, роскошное изобилие художественных форм: щедрою рукой разбрасывает гений разноцветные драгоценные камни, чудесные таинственные жемчужины, груды сверкающих слитков, узорчатые ковры и заморские диковины своего творчества. Элегическая нежная свирель; базарная перебранка, ярмарка и жаргоны улицы; торжественные хоралы межпланетных пространств; кипящая лава стремительных строф; кухня грязных ведьм и светлая гармония эллинского храма, — все дано в совершенном выражении. „Прометей“ и „Римские элегии“, „Ueber allen Gipfeln ist Ruh“ („Горные вершины спят во тьме ночной“)

и „Фауст“, „Гец“ и „Лесной царь“ — для всего адекватная форма, без которой само содержание разрешается в ничто, разлетается на куски, превращается в пыль и прах. В каждый период своего развития и после каждой „линьки“ Гете давал шедевры новой формы стиля: варваризм „Гец“ и классицизм „Ифигении“ одинаково совершенны. Поэтому куски сердца великого поэта являются такими мощными аккумуляторами: „Вертер“ вызвал целую эпидемию самоубийств; „Фауст“ создал гигантскую литературу, вся западно-европейская культура была окрещена „фаустической“, а „Евангелие от Фауста“ („в начале бе Дело“) становится нормой мировоззрения нашего времени. Но среди всего неисчерпаемого творчества мудреца и поэта ясно проступает его непобедимое влечение к ступеням в развитии человечества, к историческим массивам, к бурным эпохам, имевшим своих трагических носителей. Цезарь, Христос, Магомет; Гец, Эгмонт; Прометей, Вечный Жид, Фауст — вот герои истории или ее символы, которые пленяют Гете, наполняют его целиком, мучают его, пока он не изживет этой творческой муки в великолепии новой поэмы. „Фауст“ мучил его всю жизнь. Это потому, что „Фауст“ есть сила сил, возведение в степень всего предшествовавшего, синтез синтезов, предел творчества Гете и самое совершенное его выражение.

Характерным для всех этих художественных типов является дух бунта, протеста, исканий; широкий размах исторического действия; драматическая напряженность событий; развитие трагической коллизии между титаном, носителем нового принципа, и косным миром и его владыками. Совершенно неслучайно, что разработка этого мотива овладела лучшими умами века: Шелли и Байрон, Лессинг и Гете, весь немецкий „Sturm und Drang“ отражали, в разнообразных исторических вариантах, „бурю и натиск“ нового общественного мироздания: против тиранов, против деспотии, против мертвой хватки феодальных кандалов, против гнетущего сумрака теологии, против узких, невыносимых колодок, в которых мучится, терзается и беснуется личность нового человека, против мрачного, человеконенавистнического аскетизма монахов, который точит кровь живой плоти, умерщвляемой во имя страшных идолов, черной тенью нависших над миром. Продвижение новой, буржуазной, личности, с ее принципом либеральной свободы, „Разума“, освобождения плоти, приняло в мире идеологии универсальную форму. „Гец“

еще носит исторический характер, в смысле ограниченности эпохи, как исторические драмы гениального Шекспира: здесь настоящее апеллирует к прошлому. Гете, который „пировал“ и за столом Нибелунгов, и за столом Гомера, и на пирах великих поэтов Персии, находит свой арсенал в прошлом германского народа, со всеми мечами и доспехами конкретной исторической эпохи, с ее костюмами и ее жаргоном, со всем временным и пространственным „*souleur locale*“. Это был еще период увлечения Гердером, средневековой готикой, родниками национальной истории, ее своеобразной красотой. — „Прометей“ дает наиболее абстрактный вариант, где вождь человечества прямо противостоит вождю богов Зевсу.

Закрой, Зевес, парами облаков
Твое разгневанное небо
И забавляйся, как мальчишка,
Сбивающий головки у волчцов;
Громи дубы и горные вершины,
Моя земля останется за мною,
И хижина, что создал я, не ты,
И мой очаг,
Чей жгучий пламень
В тебе тревожит зависть.

В „Фаусте“ Гете развернул всю мощь своего исключительного и всеобъемлющего дарования. На вопрос об одной идее „Фауста“ Гете с умной иронией говорил: „...хорошенькая бы получилась вещь, если бы я богатую, пеструю и в высшей степени многообразную жизнь, как я ее представил в „Фаусте“, вздумал нанизать на тощую нить какой-нибудь одной проходящей идеи“. Действительно, вряд ли можно найти во всей мировой литературе другое произведение, столь блистательное и столь многогранное, как „Фауст“, впитавший в себя все соки культуры, все многообразие жизни, все цветение идей своего времени. Но это вовсе не значит, что „Фауст“ представляет собой циклопическое нагромождение мыслительных и эстетических глыб, лишь поверхностно озаренных лучами единого замысла. Наоборот, „Фауст“ есть монументальное прекрасное здание, величественно-дивный храм искусства, где размерная торжественность частей, включая все противоречия и мучительные диссонансы, выражает высшее трагическое единство. Вульгарной легендой является представление об абсолютной светлой уравновешенности и лучезарной гармонии

эллинов, или о безмятежной успокоенности Гете, или — позднее — о целостной радостности Пушкина. Вульгарной является и трактовка второй части „Фауста“, как бегства Гете от жизни в мир гармонически сделанных и искусственно построенных идеальных символов, с умиротворенным исходом в физическое небытие великого чернокнижника, который, после сладостных объятий Елены Прекрасной и созерцания эллинских форм, в конце концов, успокоился в лоне господнем, в прибежище абсолютного „Добра“ и „Красоты“. „Фауст“ Гете есть трагедийная философская поэма, весь внутренний пафос которой, это — пафос борьбы, состязания разных принципов и начал, их развивающихся конфликтов. Трагедия познания, трагедия любви, трагедия искусства, трагедия личности и общества — эти громадные проблемы культуры составляют настоящие движущие пружины „Фауста“. Принцип полярности проведен в обрисовке противоположных художественных типов, в их мучительном раздвоении и их мучительном взаимном тяготении. „Господь“ и Мефистофель, Фауст и Мефистофель, Фауст и Вагнер, „ученик“ и Мефистофель, Маргарита и Марта, как ранее Гец и Вейслинген, Тассо и Антонио и т. д., это — в известном сечении — полюсы магнита, живые носители внутренней борьбы. В „Фаусте“ одновременно даны как бы широчайшие ступени исторического человеческого бытия, по которым поднимается человечество, олицетворенное в ищущем, беспокойном, творящем Фаусте. По существу, Мефистофель есть отколотая и получившая сверх-автономию половина самого Фауста, вместе с которой, рука об руку, в постоянных внутренних конфликтах, он „занимает позицию“ по отношению к мучительным проблемам культурной истории и исторической культуры. Вереницей проходят перед нами эпохи, мировоззрения, исторические символы, реальнейшие типы повседневного быта, представители многоликих мировых идей, герои различных эпох, аллегорические носители целых отраслей творчества, могучие стихийные силы природы, — вся игра главных струн бытия и становления.

В первой части „Фауста“ даются трагические поиски истины и любви, взятые с точки зрения творящего субъекта, в первую очередь. Во второй части эти проблемы воспроизводятся в широких общественно-исторических масштабах, где на экране грандиозного художественного полотна реют образы целых

эпох и целых мировоззрений, где культурные проблемы ставятся сразу в их общественных масштабах. Здесь, после громадного цикла испытаний, после пережитых драм, после вдохновенных взлетов и падений, вся трагедия находит свое разрешение в величественном апофеозе коллективного труда. Поиски истины, муки познавательной страсти погружаются и растворяются в практике труда, а мятущаяся личность, творческий индивидуум, сливается с обществом. Умиравший великий грешник и великий герой, творческий дух истории, Фауст, кончает свою жизнь чудесной апологией грядущего человечества и его борьбы с злой стихией природы:

Стоит болото, горы затопляя,
 труд оно сгубить готово мой,
 Я устрою гнилой воды застой, —
 Вот мысль моя последняя святая!
 Пусть миллионы здесь людей живут,
 И на земле моей свободный труд
 Да процветет!

 Конечной вывод мудрости один —
 И весь я предан этой мысли чудной:
 „Лишь тот свободной жизни властелин,
 Кто дни свои в борьбе проводит трудной“.

Так создается синтез теории и практики, личности и общества, творческого индивидуума и человеческого коллектива. Здесь гений буржуазии уже перелетает на своих мощных крыльях пограничные столбы своего собственного класса, и колосс поднимается во весь свой исторический рост. Жалкая позолоченная министерская ливрея валяется в историческом хламе, пыли и мусоре. Но живыми смотрят зевсовы очи Великого Поэта.

II. Века

Из всех существовавших и истории человечества эпох — если мы рассматриваем даже не историю средиземноморского orbis terrarum, а все континенты и все расы — две эпохи войдут в сознание объединенного грядущего человечества, как крутые изломы истории, как геологическое смещение пластов социального бытия, под действием грандиозных взрывов вулканических сил. Это — эпоха смерти феодализма и рождения капитализма, эпоха буржуазных революций и освободительных войн;

это, с другой стороны, еще более великая, еще более грандиозная, неизмеримо более значительная и еще более катастрофическая эпоха крушения капитала, разгрома его сил и рождения социализма, эпоха, когда в гуле и грохоте кровавых войн и восстаний, в титанической борьбе миллионов против проклятия Железной Пяты, во всесветной революции пролетариев, разрушающих центры империалистского могущества, складываются новые экономические отношения, новые формы быта, культуры и мировоззрения.

Сто лет тому назад против громады феодального режима, против сумрачных Бастилий тела и духа, поднялись новые классы, и вся история шагнула на небывалую еще ступень. Ибо история не повторяет одних и тех же вековых кругов, неизменно возвращаясь к исходным точкам своего движения: она знает и катастрофические срывы вниз, когда кривая развития бессильно начинает падать, как аэроплан, у которого вдруг остановился мотор; но она знает и буйное развитие по спирали, со все ускоряющимися темпами, когда общественная жизнь как бы задыхается от избытка своей собственной напряженности и полноты, и когда старые ее формы насильственно уничтожаются, ибо приходят в принципиальное противоречие с этой напряженностью, с новыми мощностями и энергиями, с ростом производительных сил. Феодализм взлетел на воздух, ибо вся его система отношений — экономического рабства, политической придавленности, церковного удушающего гнета и затейливого дворянского искусства — не могла ужиться с капиталом, свободой торгового оборота, с рациональным познанием, наукой и, наконец, с принципом, неизвестным раньше нигде и никогда: с машиной. В человеческую историю ворвался новый стальной огнедышащий демон, бешеная пляска органов которого сообщила лихорадочно буйный ритм всему развитию. Поспешные и уверенные шаги нового жизненного уклада раздались в феодальных монастырях, во дворцах королей, с их напудренными париками, косицами, бонтонными танцами и потреблением благ, которые были последними каплями крови, этого „совсем особенного сока“, дико эксплуатируемых крепостных масс.

Уже ранее предчувствие этого нового строя, материально опирающееся на рост торгового капитала итальянских республик, дало Ренессанс, с его Бокаччио, Челлини, Рафаэлем, Ми-

кель-Анджело, Петраркой и таким универсальным и единственным гением, как Леонардо. А много лет спустя рождение новой эры на континенте Европы выдвинуло сияющее созвездие Гете, Бетховена и Гегеля, в творчестве которых ясно слышится мощная пульсация крови нового уклада всемирной истории. Все предыдущее развитие и все предыдущие этапы истории рассматриваются здесь как мучение общественного человека, впервые причащающегося только теперь настоящей свободе и настоящему творчеству. В категориях „liberté“, „égalité“, „fraternité“ вращается вся идеология эпохи, от лозунгов маленького провинциального французского митинга до самума наполеоновских войн. И именно этот „дух эпохи“ лежит в основе творений трех ее несравненных гениев.

В „Людвиге Фейербахе“ Энгельс писал:

„Гете, как и Гегель, был, каждый в своей области, Зевсом-Олимпийцем, но оба они никогда не могли целиком освободиться от немецкого филистерства. Все это отнюдь не помешало гегелевской системе обнять неизмеримо большую область, чем всякая другая предыдущая система, и в этой области развито такое богатство мыслей, которое поражает и сейчас. Феноменология Духа (которую можно было бы назвать параллелью эмбриологии и палеонтологии духа, развитием индивидуального сознания через его различные ступени, понятые, как сокращенное воспроизводство ступеней, которые сознание людей проделало исторически), логика, натурфилософия, философия духа, и эта последняя опять таки разработанная в своих отдельных исторических производных формах (Unterformen): философия истории, права, религии, история философии, эстетика и т. д. — во всех этих разнообразных исторических областях Гегель работает над тем, чтобы разыскать и вскрыть проходящую нить развития; и так как он был не только творческим гением, но и человеком энциклопедической учености, то повсюду он выступает с эпохальными открытиями (epochenmachend)“.¹

Эта глубоко проникновенная характеристика в своей внутренней основе приложима и к Гете, в особенности к Гете, как к творцу

¹ F. Engels. Ludwig Feuerbach. Verl. für Literatur und Politik. Berlin. SS. 20—21.

„Фауста“, этой, как ее назвал Гегель в своих лекциях по эстетике, „абсолютной философской поэмы“. Разве Фауст не повторяет в своем индивидуальном развитии сокращенно эпохи исторического развития человечества? Разве его индивидуальные муки и индивидуальные творческие акты не суть художественные символы борений общественного человека, восходящего по ступеням своего исторического развития? Разве здесь мы не видим генетически одной и той же социальной базы, на которой была создана и гениальная философская поэма Гете, и гениальная поэтическая философская система Гегеля? Архитектонические принципы — универсальная энциклопедичность, объективизм, непреодолимое движение вперед, через частоты противоречий, огромный оптимизм, всемирные масштабы, историзм, глубокая активность, исключительная монументальность целостного построения — они и здесь, и там. Это сходство есть сходство внутренней структуры, лишь взятой в двух своих ипостасях: чисто логической и художественной. Недаром Гегель в своей „Феноменологии Духа“ прямо оперировал „Фаустом“.

Третьей — музыкальной — ипостасью является героическое творчество Бетховена. Уже самая тематика бетховенской огненной музыкальной лавы говорит о внутреннем интимном родстве: „Кто свободный человек?“ — ранний „гимн свободе“, музыка к „Творению Прометея“, „Эгмонт“, могучая „Героическая симфония“, с ее первоначальным именем „Буонапарте“, всепобеждающая „9-ая симфония“ и масса композиций на тексты Гете. Творчество исключительной мощи, гигантского силового диапазона, монументальное, как вершины Гималаев. Бурная творческая страсть, напряжение и борьба, выраженная в суровых и мужественных ритмах колоссальной силы, какие-то героические победные марши богатырей, громадных масс, идущих на штурм, преодолевающих препятствия, творящих и — в конце концов — побеждающих. И — венце всего — как конец „Фауста“ — всечеловеческая радость коллективного творческого труда, всемирной победы и всемирного братства, незабываемый и потрясающий финал „Девятой симфонии“, заключительный экстатический восторг освобожденного человечества, океан победных звуков, идущих исполинскими волнами и покрывающих собою всё.

По разному относились субъективно три гиганта к конкретному ходу современных им событий, от упорного и открытого

сторонника революции Бетховена до автора „Die Aufgeregten“. Но и тот, и другой, и третий — дети одной эпохи, и ее они выражали в пламенных звуках огнедышащих симфоний, в величавых поэмах и стройных философских системах мысли. Когда Бетховен хаос своих бурлящих чувств оформлял по принципам стройных строф Гете; когда Гете ставил себя на одну доску с Гегелем, посылая ему полушутливые послания с посвящениями, вроде: „Dem absoluten — empfiehlt sich schönstens zu freundlicher Aufnahme — das Urphänomen“;¹ или когда Гегель приходил в восторг от „Farbenlehre“ или „Фауста“ — все это было неслучайно: здесь внешне проявлялась глубокая внутренняя связь идеологии, взятой и со стороны ее общественного содержания, и со стороны ее формальных архитектурных моментов, которые сами неотделимы от этого содержания, сами „содержательны“; здесь, в конечном счете, обнаруживала себя глубокая общественная закономерность: новое молодое общество, прорвавшее скорлупу обветшавших форм, сильными голосами заявляло о своей буйной энергии, о своем праве на жизнь, о своей борьбе, о своих победах.

Сила этих гениальных творцов была так велика, что они некоторыми гранями своего творчества переступали пределы кругозора, свойственного их классу. Конец „Фауста“ — уже смутное предчувствие, пророческая греза о социализме. Да и сам Гете писал о себе, суммируя свой жизненный путь: „Что такое я сам? Что я сделал? Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, подмечал. Мой труды вскромлены тысячами различных индивидов, невеждами и мудрецами, умницами и глупцами; детство, зрелый возраст, старость, — все приносило мне свои мысли, свои способности, свои надежды, свой уклад жизни; часто я снимал жатву, посеянную другими, мой труд — труд коллективного существа, и труд этот носит имя Гете (*mon oeuvre est celle d'un être collectif et elle porte le nom de Goethe*). Это — точка зрения, отнюдь не свойственная индивидуализму молодой буржуазии: это уже зародыш социалистической идеологии, один из моментов нового мира. Гегель, выражая историю и поступательный ход буржуазного общества, настолько поднялся в своем полете универсального мыслителя, что его

¹ Karl Rosenkranz. G. W. F. Hegel's Leben. Verl. Duncker und Humblot. Berlin. 1844. S. 339.

система могла стать „алгеброй революции“: Маркс „поставил ее на ноги“, Ленин считал возможным читать его „материалистически“. Бетховен так могуч в своей общности и так общ в своей мощи, что, будучи сыном буржуазной революции, он заражает своей титанической музыкой людей новых эпох, новые классы, нового типа революционеров, массу борцов пролетариата. Ибо здесь повсюду — огонь революционной стихии, творческая борьба, великая радость побед, жгучие надежды на грядущее, уверенность в окончательном торжестве. И поистине символично отношение Гете к Байрону, этому лорду-карбонарию, открыто отрекшемуся от своего класса, поднявшему свой голос за рабочих бунтарей и погибшему, как повстанец и инсургент: Гете воспел его в образе Эвфориона, прекрасном образе безумной храбрости и славной преждевременной смерти. Мудрый старец оплакивал здесь своего духовного сына, который уже ступил одной ногой на пути новой, невиданной борьбы, опередив свою среду и проклявши ее, на что не хватало ни смелости, ни характера у самого Гете — Фауста.

Сто лет прошло с тех пор, сто лет бурного развития, исторической костоломки, когда капитализм подмял под себя все страны и народы и в то же время создал производительные силы необычайной мощности. Теперь пришел черед и его исторической гибели. Он обнажил все свои противоречия, доведя их до невыносимых конфликтов. Он превратился в могильную чугунную плиту, которая давит все побеги молодой творческой жизни. Лозунг свободы, равенства и братства сменился лозунгом кавалерии, инфантерии, артиллерии, оружие которых направлено против масс. Всемирный капитал, потрясенный недавней чудовищной по своему размаху войной, с грохотом раскололся: революционный обвал дал жизнь пролетарскому Союзу. Жив и еще силен искалеченный седовласый разбойник. Но у него нет ни уверенности в победе, ни необходимой бодрости. Волной катится по капиталистическому миру кризис, с грохотом и ревом опрокидывая остатки процветания, ворочая тяжелые камни капиталистического благополучия, вытесняя миллионы своих рабов из производства, превращая заводские гиганты в мертвые груды камня и металла, не оплодотворяемые пламенным дыханием живого труда. За красными границами, в труде безымянных героев, поднимаются сотни новых заводов, реет пурпурное, багряное знамя и на весь мир раздаются дерзостные лозунги

победоносного пролетариата. Через сто слишком лет после войн монархических коалиций против революционной Франции организуется злодейская коалиция буржуа против революции пролетариата. Всемирная история делает новый поворот, самый принципиальный из всех, которые были сделаны в прошлом.

В эту великую эпоху историческое мужество, героическое дерзание, творческая смелость принадлежат только одному классу, пролетариату, и только одному движению, коммунизму. Старый строй кровоточит и гноится. Его идеологи заклинают „судьбу“, проклинают технику, уходят к средневековью. Его боевики — без внутренней уверенности — принимают рыцарскую позу, а из-за угла выбивают лучших людей пролетариата. Его государственные мужи хватаются за последнее отчаянное оружие, оружие новой войны. И только коммунизм скликает армии бойцов на последний бой за действительное, а не иллюзорное счастье человечества.

Так мерной поступью, железным шагом, идет вперед мировая история. Она идет по промоченным кровью полям, по разрушенным городам, среди буйства ветров, когда выпущены на волю все духи бури и громов. Она, через великие страдания и великую борьбу, подымается еще раз на новую ступень, первую ступень, ведущую к концу нищеты, войн и угнетения. Борьба наших дней есть всемирная борьба за коммунизм, настоящая и величайшая героическая симфония жизни. Ее герой — угнетенные массы человечества, их организованный пролетарский авангард. В буре этой борьбы, которая звучит как суровый и торжественный железный марш миллионов, рождается новое общество. Оно включит в себя все славное и героическое старого мира. Оно поднимет на щит и понесет в века и имя великого Гете, зарыв в могилу его министерские мундиры, его филистерство, его компромиссы, его падения. Оно сделает своими его гениальные прозрения, ибо вместе с ним оно пишет на своем знамени:

Лишь тот свободной жизни властелин,
Кто дни свои в борьбе проводит трудной.

Акад. М. А. МЕНЗБИР

Значение Гете в истории морфологии животных

Дать характеристику великого германского поэта В. Гете как морфолога животных не составляет труда, хотя еще легче говорить о Гете как натуралисте вообще. Гете, не любя и не зная математики, любил описательные естественные науки и обладал всем необходимым для их изучения. Надо, впрочем, сказать, что мы далеко не располагаем необходимым материалом для оценки Гете даже как морфолога, и если бы у нас не было записок самого поэта по этой части, мы оказались бы без важнейшего материала для оценки значения Гете в истории морфологии животных. Замечательно, что к нынешнему дню соотечественники Гете издали особую книгу, оказавшуюся чрезвычайно неудачною и неудовлетворительною во многих отношениях, особенно же в оценке Гете, как морфолога. Лучшей характеристикой Гете в этом качестве была и остается статья моего учителя Якова Андреевича Борзенкова, бывшего профессора Московского университета. Борзенков прекрасно знал морфологические работы Гете, как в области ботаники, так и в области зоологии, высоко ценил значение Гете в морфологии и преклонялся перед его поэтическим гением, указав, подобно Дю Буа-Реймону, бесчисленные места в „Фаусте“, где среди поэзии пробиваются мысли натуралиста.

Гете оставил после себя в морфологии только две работы, но кроме того он издавал естественно-исторический журнал, в котором напечатал множество заметок по естественной истории. Вот из них то мы и узнаем, как смотрел Гете на задачу морфологии, как у него возникли идеи о том, что он называл метаморфозом растений и развитием животных. Отсюда же мы узнаем и его отношение к взглядам великого французского на-

туралиста Этьена Жоффруа Сент-Илера, с которым он работал большую часть жизни одновременно, хотя начал работать раньше его и потому несомненно самостоятельно. Отсюда же мы узнаем о глубоком интересе Гете к академическому спору между Кювье и Этьеном Жоффруа Сент-Илером, в котором Гете был всецело на стороне Сент-Илера. Попробуем теперь остановиться на оценке Гете, как морфолога животных. Заметим с самого начала, что на занятие Гете естественными науками надо смотреть, как на научные экскурсии великого поэта в области естествознания. Повидимому, Гете сначала заинтересовался изучением растений и уже позднее — изучением животных. Во время его службы при дворе у герцога Саксен-Веймарского ему пришлось участвовать при перенесении в новое помещение собрания разных редкостей, принадлежащих герцогу. В этом собрании было много отдельных костей и несколько скелетов редких животных, которые и возбудили в Гете интерес к анатомии. Раз заинтересовавшись этим, Гете начал серьезно изучать анатомию под руководством Лодера, который состоял тогда профессором анатомии в Иене, а потом перешел в Московский университет. Гете изучал анатомию и на готовых препаратах и сам делал препараты, в особенности остеологические.

Вскоре же у него явилась потребность сравнивать кости одного животного с костями других близких к нему и с костями человека. В то время считали, что разница между обезьяной и человеком выражена очень резко присутствием у обезьян так называемой межчелюстной кости, которую считали отсутствующей у человека. У Гете повидимому уже в это время была мысль о некотором единстве плана строения животных известной группы, в силу чего он начал усиленно искать межчелюстную кость также и у человека и нашел ее следы. Это открытие, сделанное поэтом в области анатомии человеческого тела, было встречено специалистами анатомами, кажется за исключением Блюменбаха, почти так же, как метаморфоза растений ранее была встречена ботаниками. Кампер, например, которому Гете послал свою работу в рукописи, похвалил слог этого сочинения, заметивши впрочем, что желательно более точности в выражениях, а о самом открытии не сказал ни слова. Лодер, однако, занес его в свой учебник анатомии человека, а Зоммеринг в своей остеологии, отозвавшись с похвалой о работе, выразил желание, чтобы она была напечатана с рисун-

ками. Однако, Гете, огорченный холодным и, как он несомненно находил, несправедливым отношением специалистов, долгое время не печатал ее. Сам Гете видимо высоко ценил свою работу и был прав. Дело конечно было не в открытии одной лишней косточки, а в тех общих соображениях, которые вызвали это открытие, и в строго научном сравнительно-анатомическом методе ее производства.

Трудно сказать, с перерывами или нет, но изучение организации животных во всяком случае глубоко занимало великого поэта и в следующее время. Он мечтал даже написать целый трактат по сравнительной анатомии и в 1795 и 1796 гг. написал для него два введения, но самый трактат так и остался ненаписанным. Позднее он написал еще кое-какие заметки по разным вопросам сравнительной анатомии и между ними более обширную — о позвоночной теории черепа. Любопытно, что привело его к этой теории. Гете был на острове Лидо под Венецией и на прибрежном песке заметил череп теленка, перевернутый дном кверху. Этот-то череп и навел Гете на мысль, что дно черепа состоит из нескольких позвонков, соответствующих позвонкам туловища, а затем эта мысль была Гете расширена и идея о позвоночном строении была перенесена на весь череп. Замечательно, что тем же путем шел и Окен, который пришел к заключению о позвоночном строении черепа, наткнувшись в горах Гарца на высушенный череп барана. Однако, несмотря на то, что Гете и Окен пришли к одному и тому же заключению, одним и тем же путем, они несомненно шли независимо друг от друга. Окен почему-то обвиняет Гете в том, что он испортил отношение к нему герцога Веймарского, но нигде не делает ни одного намека на несамостоятельность Гете в научном отношении. Когда он говорит о том, что Гете повредил ему при дворе, речь идет вероятно о каких-нибудь придворных сплетнях. Гете в течение семи лет издавал особый сборник под заглавием „К познанию морфологии и естествознания вообще“, и здесь им напечатано все, написанное им до 1823 г. включительно. Он продолжал интересоваться сравнительной анатомией до самой смерти. В 1830 г. им был написан отчет о споре Этьена Жоффруа Сент-Илера и Кювье, а позднее, в год своей смерти, в 1832 г., Гете опять возвратился к тому же предмету в более обширной статье. Как Гете относился к этому спору, доказывает следующий эпизод. „Не знаете ли последние новости

из Франции?" спросил Гете у Эккермана, „что вы думаете об этом великом происшествии? Вулкан в извержении, он весь в пламени“. „Это ужасная история“, отвечал Эккерман, „и при настоящем положении вещей, при настоящем министерстве, должно ожидать изгнания королевской фамилии“. „Э! да разве я говорю о политической революции?" сказал Гете. „Я говорю о дебатах между Кювье и Сент-Илером, о деле чрезвычайно важном для науки, о настоящей революции человеческого ума“.

Во всех его статьях, как и в общем введении к упомянутому сейчас сборнику, разбросано много идей относительно строения организма вообще и по сравнительной анатомии, которые в свое время были до такой степени новы и оригинальны, что казались даже парадоксальными. Тем не менее, они имели большое влияние на развитие науки и в настоящее время в несколько измененном виде сделали общим достоянием. Гете в сущности понимал организм так же, как он понимается и в настоящее время. Он говорил о частях организма, под которыми понимал его органы, а не подобные части (*partes similes*), на что обращал внимание читателя. „Чем мельче существо“, говорил он, „тем более одинаковы или сходны между собою эти части и тем более они сходны с целым. Чем более совершенно существо, тем более не сходны между собою эти части. В первом случае целое более или менее одинаково со своими частями, во втором—не сходно со своими частями. Чем более части похожи одна на другую, тем менее подчинены они одна другой. Соподчинение частей указывает на большее совершенство существа“. В настоящее время, спустя столетие со дня смерти Гете, изучение организмов привело нас к тому, что то, что говорил Гете об органах, мы переносим на элементарные части, из которых составляется сложный организм.

Гете рассматривал организмы (с морфологической точки зрения) как нечто, находящееся в постоянном движении, считая необходимым изучать их образование и преобразование, как он выражался, или их развитие, как мы теперь говорим. Он признавал, что части животного при преобразованиях могут изменяться очень разнообразно. Он признавал, что некоторые части у одного животного могут получить значительно большее развитие, чем у другого, близкого к первому, и отмечал, что при этом, если одна часть развивается больше, так сказать переразвивается, то другая часть развивается меньше,

т. е. недоразвивается. Таким образом, развитие органов или частей как бы связано в рамках определенного бюджета, часть всей суммы может быть перенесена из одной рубрики в другую, одна часть организма может получить большее развитие, другая как бы экономизирует то, что на нее потрачено, получая меньшее развитие. При таких условиях организм не может ни задолжать, ни обанкротиться. Это—Сент-Илеровский „принцип равновесия органов“, и поистине замечательно, до чего Гете и Сент-Илер сошлись в своих взглядах на организм, не зная друг друга. Гете рассматривал каждый организм как особый микрокосм, маленький, замкнутый в самом себе мирок. При изучении организмов, по определению Гете, мы должны задаваться только вопросом о том, как они произошли и развились, а не вопросом о том, для чего они существуют. „Нечего проповедывать, что рога даны быку, чтобы он бодался ими, а следует изучать, как у него образовались рога, которыми он бодается“.

„Вообще“, говорит Гете, „естественная история основывается на сравнениях, следовательно и морфологическое изучение организмов должно быть сравнительное“. „Сравнивать каждый животный организм со всеми остальными невозможно, ибо их слишком много. Сравнить каждый с организмом человека слишком неудобно, так как он слишком сложен и специализирован в известном направлении, почему многие животные организмы представляют на первый взгляд так мало сходства с ним, что сравнивать их непосредственно с человеком слишком затруднительно. Отсюда является потребность в анатомическом типе, в таком общем образе, в котором бы по возможности заключались все животные образы и с которыми бы они все были сравнимы. Уже из самой идеи этого типа очевидно, что ни одно отдельное, действительно существующее животное не может быть принято за такой тип“. Этот тип является, следовательно, идеальным представлением. Он не может реально существовать. Он есть представление, составившееся в уме анатома путем сравнения действительно существующих животных организмов и обобщения тех их свойств, которые общи всем им. Сравнить можно не только разнородные животные организмы, но и части какого-либо организма с его же другими частями. Например, передние конечности с задними, один позвонок с другими, скелет головы, т. е. череп, с позвоночником. Гете говорит, что он тридцать лет зани-

мается вопросом о сравнении черепа с позвоночником, но насколько легко возникает идея этого сравнения, настолько трудно решить, какая именно кость черепа соответствует той или другой части позвонка. Из сказанного здесь следует, что Гете смотрел на сравнительную анатомию как на науку, вполне самостоятельную, науку, занимающуюся морфологическим изучением организмов. Таким образом, Гете имел огромное влияние на упрочнение понимания сравнительной анатомии, и этого одного достаточно, чтобы отвести ему выдающееся место среди натуралистов всех времен и национальностей. Вместе с тем, на примере Гете и Сент-Илера нельзя не видеть того, как общие идеи, уступая требованиям времени, входят в жизнь, будучи правильно понимаемы в их историческом развитии выдающимися умами, несмотря на то, что первоначально бывают встречены враждебно.

В заключение этого краткого очерка можно сказать, что, даже говоря о Гете только как о морфологе, нам удастся осветить в его лице великого ученого среди поэтов и отметить, что творец „Фауста“ имеет право на почетное место в истории науки.

15. III. 1932.

Акад. В. Л. КОМАРОВ

Гете как ботаник

I

Всем нам, знакомым с сочинениями Гете по „Фаусту“, по „Страданиям молодого Вертера“, по „Вильгельму Мейстеру“, по „Гецу“, и „Эгмонту“, кажется странным и даже очень странным и неожиданным, когда мы впервые узнаем, что великий поэт находил еще время для занятия естествознанием вообще и ботаникой в частности. И, однако, его влияние на развитие этой науки несомненно.

Материал, через который Гете пришел к ботанике, был следующим. Уроженец города, и притом по тому времени большого (Франкфурта), в ранней юности он не был знаком с природой. Студенческие годы, проведенные им в Лейпциге и Страсбурге, также мало этому способствовали. Юридические науки не удовлетворили его любознательности, и в Страсбурге он занялся, как любитель, химией, анатомией и медициной. С растениями, достойными изучения, Гете столкнулся впервые в Веймаре в 1776 г., поселившись в загородном доме, окруженном садом. В одном из своих стихотворений он описывает этот сад следующим образом: „Густая сень зеленых деревьев собственной посадки разраслась вокруг, а в душе моей продолжалось в то же время творчество, вынашивание и рост идей“.

Работа в саду, где Гете старался собрать как можно больше разнообразных растений, управление лесами Веймарского герцогства, устройство парка в Веймаре и участие в охотах среди просторов Тюрингенского леса познакомили его с разнообразием растительных форм и заставили обратиться к ботанической литературе.

Гете сам дает указание на то, что так же, как Спиноза влиял на него в области философии, а Шекспир в драматургии, так

Линней был его главным руководителем в знакомстве с растениями. Особенное значение имели для Гете „Система растений“, дававшая возможность распознавать растения и находить им правильные наименования, и „Философия ботаники“, дававшая правила описания и систематизирования растений и кое-какие знания по общей теории ботаники.

Увлечение растениями было у него глубоким и прочным. Недаром сказал он о своем саде: „Дай нам небо насладиться им и отгони от нас всю придворную и канцелярскую пыль“.

В 1785 и 1786 гг. Гете отдается ботанике с жаром, возрастающим с каждым днем; с настоящим рвением неопита старается он заинтересовать всех окружающих. Благодаря этому в теплицах Веймара были собраны величайшие редкости по части иноземных растений, а в герцогской библиотеке появились драгоценнейшие произведения ботанической литературы. В 1785 г. был выписан и микроскоп для изучения низших растений.

Много помогли Гете в изучении растений его поездки по Германии, Чехии, Швеции и Италии. В том же 1785 г., во время поездки из Веймара в Карлсбад, Гете познакомился с Ф. Дитрихом, студентом, происходившим из семьи травоискателей, у которых знание местных растений передавалось по наследству от отца к сыну в течение полутора веков. Когда орды Валленштейна, во время Тридцатилетней войны, разгромили Прагу, многие из студентов медицины бежали в горные леса центральной Германии и там находили себе пропитание собиранием целебных трав и приготовлением из них лекарств. Дитрих возвращался с ботанической экскурсии, когда Гете остановил его, попросил открыть капсулу, в которую тот собирал растения, разложить последние, дать им названия, указать классы и порядки по системе Линнея и пользу, приносимую ими в хозяйстве. Дитрих проявил большие по тому времени познания, и путешественники вместе отправились на соседнюю гору, изучая попавшиеся им ковыль, орхидные растения и другие редкости, растущие на известняках. Дальнейшее путешествие привело их к одной долине близ Шнееберга, спускаясь в которую они уже издали увидели красное пятно, образованное среди мохового болота густою зарослью росянки. Внимательно рассматривая каждое растение, Гете заметил на листьях росянки мелких насекомых и открыл тот факт, что, когда насекомые раздражают

увенчанные железками ворсинки листьев, ворсинки эти приходят в движение и, прижимая насекомое к листу, умерщвляют его. Правда, факт переваривания растением животной пищи остался ему неизвестен и был открыт Ч. Дарвиным лишь в 1860 г.

В Карлсбаде Гете и Дитрих организуют правильные ботанические экскурсии и научный разбор всего собранного, причем заинтересовывают этим делом целый ряд лиц, находившихся в Карлсбаде одновременно с ними. Гете в серьезных беседах развивал перед своими слушателями элементы учения о метаморфозе, которое, как говорит Кон, все яснее и определеннее укладывалось в его сознании. В августе он написал своему другу Кнебелю: „моя гипотеза все более меня радует, все очень легко и хорошо вытекает из нее; я уверен, что этим путем можно прийти к прекрасным открытиям“.

Несмотря на все преклонения Гете перед сочинениями Линнея, ум его и в ботанике шел своим путем, часто совершенно противоположным тому, которого держался Линней. Чтобы яснее подчеркнуть особенности Гетевского научного творчества, попробуем вспомнить, каково было развитие ботаники в половине XVIII столетия.

В эпоху возрождения наук и искусств в Западной Европе авторитет классиков Аристотеля, Diosкорида, Теофраста и Плиния был непререкаем, что сильно тормозило всякое самостоятельное исследование и приводило к большим заблуждениям. Верили в то, что трудами этих ученых наука исчерпана, и желали непременно видеть все изучавшиеся по какому-либо поводу растения среди описанных ими. То, что писатели древности имели дело исключительно с растениями Средиземья и совершенно не знали даже растений Германии, никого не смущало. После открытия Америки и морского пути в Индию, эксплуатация далеких колоний вызвала значительный приток в Европу чужеземных растений и животных, которых уже никак нельзя было предполагать описанными Аристотелем. Интерес к новому миру был велик. Стали основывать ботанические сады и естественно-исторические музеи. Введение в культуру американских растений, картофеля, кукурузы, табака и пр., резко подчеркнуло пользу исследования и разом двинуло самостоятельные естественно-исторические изыскания, состоявшие главным образом в описании и изображении отдельных животных и

растений. Всего этого накопилось много, и чем далее, тем труднее было разбираться в этой литературе, где нагромождение фактического материала не сопровождалось ни определенной системой изложения ни попытками дать теорию изучаемого предмета.

Линней уже с 1735 года, когда появилось его сочинение „Система природы“, начал свою работу по полному пересмотру всего описательного естествознания с проведением строгой систематизации материала. Сообразно с поставленной им себе задачей Линней должен был искать у животных и растений черты, возможно резче и яснее отделяющие их одно от другого, его система была аналогической, для него было важно обособлять, выделять каждый объект исследования.

Гете, наоборот, представлял собою ум, склонный к выведению общих законов, ищущий широких обобщений. Для него важнее всяких различий было превращение одних форм изучаемого органа в другой. Следуя идеям Спинозы, он в бесконечном разнообразии живой природы искал единства. Недаром он назвал свое первое ботаническое сочинение „Метаморфоз растений“.

Позднейшие путешествия Гете были совершены им в Швейцарию (1779), где он проник в долину Шамуни, до него почти не посещавшуюся, и поднялся оттуда на вершины гор, ее окружающих, к ледникам Готтарда и пр., а затем — по Рейну, на Гарц и, особенно, в Италию через Тироль (1784), в Падую, Рим, Неаполь и Сицилию. Путешествие в Италию закончилось только весной 1788 г. и дало поэтому массу впечатлений. Здесь он произвел многочисленные наблюдения над разнолиственностью у пальм и других растений, над семядолями хвойных и кактусов, над пролификацией различных цветов и пр.

В одном из писем в Германию Гете пишет (Фраскати близ Рима, 30 X 1787 г.): „Ботаникой занимаюсь я напропалую и все более убеждаюсь, что нашел общую формулу, применимую ко всем растениям“.

II

Словом, основная идея Гете настолько созрела, что весной 1790 г. он попробовал сдать в печать свою работу под заглавием: „Попытка объяснить метаморфоз растений“. Начало не предвещало ничего хорошего, издатель всех его сочинений

Гешен отказался на отрез от этого. Правда, это сочинение все-таки было издано Эттингером в Готе, но, и появившись, вызвало недоброжелательное к себе отношение. Профессиональные ботаники Германии усмотрели в работе Гете расшатывание господствующего Линнеевского направления и отнеслись к ней враждебно. Литературные друзья поэта посмотрели на „Метаморфоз“ как на измену поэзии и призывали его не менять „вечно цветущих нив поэзии“ на сухие гербарии. А один критик даже написал, что он наконец „понял“ истинное намерение автора, состоящее якобы в том, чтобы дать указания художникам, как путем изучения метаморфоза лучше составлять рисунки архитектурных украшений.

Чтобы дать понятие о названной работе Гете, приведем некоторые отрывки из ее 123 параграфов, занимающих в издании 1790 г. всего 86 страниц.

„§ 1. Каждый, кто когда-либо наблюдал за ростом растений, должен заметить, что некоторые внешние их части изменяются и принимают целиком или частично форму соседних с ними органов.

§ 2. Для примера, напомним, что чаще всего можно наблюдать, как простой цветок превращается в махровый, так как его тычинки и столбики превращаются в лепестки, которые то совершенно уподобляются нормальным лепесткам и формой и окраской, то сохраняют частично явные признаки своего происхождения.

§ 3. Если мы заметим, что растения таким образом могут делать в своем развитии шаг назад и дают этому развитию как бы обратный ход, то мы будем более внимательно наблюдать и нормальный порядок развития и изучать законы превращения форм, согласно которым растение образует одну часть из другой и строит самые разнообразные формы путем изменения одного единственного органа.

§ 4. Скрытое от нас родство различных внешних органов растений, каковы листья, чашечка, венчик, тычинки, которые развиваются одни после других и в то же время одни из других, в общем уже давно признано учеными; оно уже детально разработано, и способность одного и того же органа так различно видоизменяться получила наименование метаморфоза растений.

§ 5. Метаморфоз может проявляться тремя способами: закономерно, незаконномерно и случайно.

§ 6. Закономерный (нормальный) метаморфоз мы можем также назвать прогрессивным, так как он, начиная с семядолей и вплоть до образования плодов, является все время постепенно усложняющимся и, путем превращения одной формы в другую, достигает своей вершины, каковой является в данном случае половое размножение. Я следил за этим процессом в течение многих лет и ради объяснения его и предпринял настоящее исследование. Поэтому же мы и будем в дальнейшем рассматривать растение, как однолетнее, неустанно стремящееся вперед к новому плодоношению.

§ 7. Незаконномерный (ненормальный) метаморфоз может рассматриваться как регрессивный. Если при нормальном метаморфозе природа движется крупными шагами к выполнению крупной задачи воспроизведения, то при ненормальном она идет вспять на одну или несколько ступеней; в то время как в первом случае она повинуетя непреодолимому стремлению образовать цветы, во втором она ослабевает и оставляет свое создание незаконченным, в состоянии неопределенности, часто приятной нашему глазу, но внутренне бессильном и никчемном. Наблюдения над этим типом метаморфоза могут раскрыть нам такие стороны его, которые ускользают от нашего внимания при изучении закономерного развития. Можно надеяться, что, идя этим путем, мы тем вернее достигнем нашей цели.

§ 8. Третий тип метаморфоза, вызываемый внешними факторами, действующими случайно, чаще всего можно наблюдать у насекомых, но мы не отдадим ему нашего внимания. Исследование этого случая отклонило бы нас от того прямого логического пути, которому мы решили следовать, и от поставленной нами себе цели. Может быть мы найдем еще случай говорить об этих уродливых, но все же ограниченных определенными рамками разрастаниях“.

Далее следуют главы о семядолях, как самой простой из листовых форм, о развитии стеблевых листьев от узла к узлу, о переходе к цветению, об образовании чашечки цветка, о раз-

витии венчика, тычинок, медовых желез (нектарников), столбиков, плодов, покровов семени, о развитии почек, о развитии сложных цветов и плодов, о пролификациях, о Линнеевской теории предварения (упреждения) и, наконец, заключение (§§ 112—123).

Как особо характерные, приведем еще два-три параграфа.

„Раздел III. Переход к состоянию цветения (зацветание).

§ 29. Переход к цветению совершается быстрее или медленнее. В последнем случае мы замечаем обыкновенно, что стеблевые листья от периферии к центру начинают все более суживаться, теряя при этом свои надрезы, и вытягиваются в своих нижних, обращенных к стеблю, частях. В то же время междоузлия стебля удлиняются, он становится тоньше и слабее, чем был ранее.

§ 30. Замечено, что черезчур обильный доступ питательных соков вызывает запаздывание цветения; умеренное и даже скудное питание его ускоряет. Еще яснее это подчеркивает влияние стеблевых листьев, на которое мы уже указывали ранее. Пока идет удаление более грубых соков, все органы растения принимают участие в выполнении этой потребности. Если в это время питание становится избыточным, то удаление соков постоянно повторяется, что и делает невозможным появление органов цветения. Если же отнимать у растения часть питательных материалов, то этим ускоряется и облегчается указанное действие природы; органы стеблевых узлов становятся более выработанными, действие очищенных соков чище и энергичнее, превращение органов становится возможным и осуществляется незамедлительно“.

Здесь замечательно намерение автора найти причинную связь между питанием растения и зацветанием. Гете сам производил некоторые опыты в этом направлении. Перерезая часть корней или накладывая на ветку крепкую перевязку, он прекращал отток питательных веществ в корни и вызывал у такой ветки раннее зацветание.

Слабая попытка управлять природой на пользу человеку, но все же попытка, стоящая подражания!

В § 109 Гете напоминает, что Линней, изучая рост деревьев, заметил, как дерево, имеющее обильное питание и простор для

корней, дает в течение многих лет ветку за веткой, но не цветет, тогда как такое же дерево, посаженное в тесный сосуд, быстро покрывается цветами и плодами.

Так закладывались первые камни фундамента экспериментальной ботаники.

Общая мысль основной работы Гете о метаморфозе заключается в том, что отрезок стебля (одно междоузлие, увенчанное узлом) с листом является основной формой растения, и все остальные органы и формы, встречаемые у растений, представляют собой метаморфоз этого основного органа.

В 1820 г. Гете издал еще целый ряд заметок на тему о метаморфозе органов у растений, используя случаи уродливостей, напр., фасциации, различные формы листьев на одной и той же особи у сныти (*Aegopodium podagraria*), о замене перистых листьев расширенными черешками у австралийских акаций, о смене трехлопастных листьев простыми у растения *Bryophyllum calycinum*. Не ограничиваясь описанием, Гете указывает на то, что у сныти изменчивость листьев гораздо сильнее в местах сырых и тенистых, чем на солнце, а у *Bryophyllum* простые листья появляются летом, осенью же и зимой они приобретают трехлопастную форму. Словом, выясняет влияние внешних условий на процессы роста и формообразования.

В 1831 г. вышла новая его работа под заглавием „Влияние опыта объяснить метаморфоз у растений“ и последующее развитие этого учения. В этой любопытной статье мы находим попытку собрать отклики на работы Гете в работах других ученых. В то время как идея метаморфоза развивалась медленно и в литературе и в науке, в 1794 г. практик, старый садовод Зейдель из Дрездена, продемонстрировал перед Гете целый ряд интереснейших примеров метаморфоза среди культивировавшихся им растений. В своей долгой жизни практика Зейдель совершенно проникся идеей метаморфоза, никогда не читав об ней, и искусно применял ее в своей работе.

Не вспомнить ли по этому поводу изречение Маркса, что лучшим критерием научной истины является практика?

Известнейшие ботаники начала XIX столетия, как Р. Броун и Декандоль развили идею метаморфоза растительных органов далее. Рейхенбах в своем изложении ботаники (Лейпциг, 1828) говорит следующее: „Гете бросает глубокий взгляд на интимную жизнь растений; его счастливое объяснение частных фактов

в применении к общему, его новая и оригинальная манера рассматривать природу, заставляют нас признать, что именно благодаря его влиянию изучение естествознания приняло новое направление“. И далее: „Этот его метаморфоз, этот закон развития растений в применении ко всему растительному миру указывает нам принципы идеального порядка“.

Интересно, что „Опыт объяснить метаморфоз растений“ был закончен и издан одновременно с „Фаустом“.

III

Обратимся от основания морфологии вообще и экспериментальной морфологии в частности к другим отделам ботаники.

В систематике Гете один из первых в Германии пошел за А. Л. Жюссье, который в 1789 г., т. е. в год Великой французской революции произвел переворот, противопоставив искусственной системе Линнея свою естественную систему разделения растений на семейства. Гете применил новую систему прежде всего в своем загородном саду в Веймаре. Уже в 1796 г. он пересадил и местные и чужеземные растения группами по семействам, причем роды также заняли определенные места внутри семейства в том порядке, в каком они расположены в сочинении Жюссье. Когда все эти ирисовые, лилейные, бобовые, лютиковые, сложноцветные и колокольчиковые зацвели, Гете с увлечением водил своих посетителей по саду, демонстрируя растения и объясняя их особенности. Кон определяет увлечение Гете системой Жюссье, как стремление сломить механический строй Линнеевской системы в пользу обобщения всей совокупности мира живых существ.

В физиологии растений Гете шел путем эксперимента. В VII томе Веймарского издания его сочинений, в отделе *Paralipomena*, III, мы находим статью „Опыты над влиянием света на рост растений“ (стр. 310—339). От 25 июня до 5 июля 1796 г. Гете производил наблюдения над ростками кресса, бобов, редиски и репы, совершенно их затемняя или накрывая цветными стеклами, окрашенными в желтый, голубой или фиолетовый цвета. Для контроля часть была накрываема обыкновенным белым стеклом, часть предоставлена непосредственному действию солнечного света. Периодически записывалась длина корней, под-

семядольного колена и семядолей. С 16 по 9 августа многочисленные растения были высеяны и развивались в совершенно темном помещении теплицы. Высеяно было 34 вида растений, а 14 видов помещены туда же взрослыми, причем все они росли на унавоженной гряде, тогда как 24 вида многолетних и 34 вида однолетних растений, разведенных в горшках, были помещены на стеллажи. О каждом растении велся подробный протокол, и все наблюдения заносились в таблицы. Выяснилось, что свет прежде всего является для растительного организма раздражителем. „Корень ищет влаги и избегает света, причем в темноте он растет медленно; проросток кресса в темноте прикрепляется лишь кончиком корешка, верхняя часть которого, оставаясь наружу, покрывается густо тонкими волокнами (т. е. корневыми волосками). На свету получают длинные корни, глубоко проникающие в почву. В темноте и при достаточной влажности показываются также корни из углов стебля, причем все они обращены вглубь комнаты, в обратную сторону от окна. Стебель несоразмерно вытягивается в темноте, так же как и черешки семядолей, а сами они принимают желтоватый оттенок; если почечка уже заметна, то развиваются и 2 первых листочка, но они остаются белыми и скоро отмирают“.

В другой своей работе, именно в трактате о цветах спектра, Гете говорит следующее: „Свет, влияя на окраску растений, влияет вместе с тем и на форму; растения, развивающиеся в темноте, удлиняют несоразмерно стебель, боковых ветвей не появляется, метаморфоза не происходит. Свет же тотчас приводит все в действие, растение зеленеет, и ход метаморфоза продолжается беспрепятственно вплоть до оплодотворения“.

Словом, Гете первый развил учение об этиолированных растениях. По вопросу о хлорофиле, которого он и не пробовал выделить, он все-таки дает не лишнее значения замечание, что зеленый цвет листьев зависит от одновременного нахождения в них двух красящих веществ, желтого и синего, из коих первое является более постоянным.

В географии растений Гете является учеником и последователем А. Гумбольдта. Уже 28 марта 1797 г. Гете пишет своему другу Кнебелю: „присутствие молодого Гумбольдта, которого одного хватило бы, чтобы заполнить целую эпоху жизни, заставляет всплывать все интересное по части химии, физики и физиологии... Мои работы по естествознанию пробуждены им от зим-

ней спячки". В 1807 г. Гумбольдт посвятил свою книгу „Идеи по географии растений“ Гете, как своему великому учителю. „Идеи“ эти так увлекли последнего, что в том же году он стал читать публичные лекции по географии растений, причем собственноручно нарисовал таблицу, изображающую идеальный горный ландшафт, на правой солнечной стороне которого разместил тропическую, а на левой, теневой, европейскую растительность, причем наметил пояса горной флоры, снеговую линию и надписал высоты над уровнем моря.

Как организатор исследовательской работы по ботанике, Гете проявил себя особенно ярко в бытность свою попечителем Иенского университета. Для естественно-исторических кафедр этого университета Гете организовал ряд специальных библиотек, лабораторий и коллекций, причем часть их лично приводил в порядок. В 1785 г. был задуман новый ботанический институт (см. переписку Гете с Дитрихом), а в 1794 г. был заложен и ботанический сад с теплицами. В 1817 г. был организован еще и ботанический музей с значительными по тому времени коллекциями сухих растений, плодов, семян и образцов древесины, причем особенное внимание было обращено на монтировку уродливостей, изучение которых, как полагал Гете, позволяет более полно объяснять и строение нормальных растений.

IV

Был ли Гете эволюционистом? Так как большая часть его научной деятельности протекла задолго до появления основных работ Ч. Дарвина и значительно ранее „Философии зоологии“ Ламарка, то ясно, что эволюционного учения еще не было. Тем не менее, исходя из превращения органов, Гете мог прийти и к превращению видов.

Рассматривая формы животных и растений, он пришел к убеждению, что нигде не наблюдается какой-либо постоянной формы. Нет ничего неизменного, замкнутого; постоянное движение, образующее живой организм или его преобразующее, и постоянное развитие — таков удел всего живого. Морфология исследует путем сравнения каждый орган в тех разнообразных изменениях, которые он претерпевает в различных организмах, или в различных стадиях развития одного и того же организма, или же в причудливых формах неправильных или болезненных

образований. Морфология, как учение о формах, является, вместе с тем, и учением о превращении.

Этим последним утверждением, определяя морфологию как учение о превращении форм, Гете далеко опередил не только своих современников, писавших по вопросам морфологии, но и многих позднейших авторов. Однако, он нигде не говорит о том, что основной, безконечный в своих превращениях у различных растений орган — лист и сам, прежде чем стать листом, прошел долгую историю преобразований. Первичное растение Гете, его „Urpflanze“, не есть наиболее простая первобытная форма растительного бытия, а только наиболее общая форма цветковых растений. Известно, что Гете работал с микроскопом и изучал мхи, лишай и плесени наравне с инфузориями, и, однако, нигде в его сочинениях не проскальзывает и намек на возможность генетической связи между споровыми и цветковыми растениями. Нет и намек на то, что споровые по своей организации примитивнее и первичнее цветковых и что лист мог развиться каким либо образом из органов тех или иных споровых растений.

Тем не менее, симпатии Гете к эволюционному учению были им высказаны, и притом очень решительно, в той бурной реакции, с которой он приветствовал происходивший 22 февраля 1830 г. диспут между сторонником неизменности видов Кювье и сторонником их эволюционной изменчивости под влиянием внешних условий Жоффруа Сент-Илером в Парижской Академии Наук. Спору этому он посвятил особую работу, озаглавив ее „Принципы философии зоологии“, и определив сущность спора, как постоянный конфликт, уже в течение долгого времени разделяющий ученый мир на два враждующих лагеря. Кювье — яркий представитель ученых, доверяющих только своим глазам и рукам и отрицающий возможность высшего философского знания, Жоффруа, наоборот, — сторонник использования точно установленного фактического материала для широких обобщений.

„Меня спросят, может быть“, говорит Гете, „какое дело Германии до этого диспута? Надо ли нам с ним знакомиться? Нужно ли принять сторону того или другого из двух спорящих французских ученых?“ Гете думает что научные вопросы, где бы они ни возникали, представляют интерес для всех, так как „ученые всех национальностей составляют один цех“. В данном же случае

важно еще то, что Жоффруа Сент-Илер опирается на сочувствие многих немецких натуралистов. Кювье же, наоборот, сам говорит, что за теориями его противника стоит другая теория, уже давно опровергнутая, но воспроизводимая некоторыми германскими учеными как обоснование для пантеистической системы „Философии природы“.

Конец этой статьи написан Гете в марте 1832 г. и представляет собою последнее, что он написал перед смертью. Центральности ее — факты из сравнительной остеологии, исторические справки и возвеличение синтетического метода. Значение выступлений Сент-Илера для эволюционного учения осталось для Гете незамеченным.

Зато в небольшой работе, посвященной ископаемому быку, Гете, еще в 1822 г., высказался (цитирую по Лихтенштадту) достаточно определенно: „Подобно двум документам лежат они оба (ископаемый и современный бык) предо мною; скелет первобытного быка — как свидетельство того, чего природа желала от вечности, скелет современного быка — как свидетельство того, как далеко она ушла до сих пор с этим образованием... Между первобытным и современным быком лежат тысячелетия, и я представляю себе, как все возрастающая в течение тысячелетий животная потребность удобно видеть перед собой постепенно преобразовывала положение и форму глазных впадин черепа первобытного быка; как стремление слышать легче, отчетливее и дальше расширило и вогнуло внутрь слуховую камеру этого животного, и как могучий животный инстинкт воспринимать, ради благоденствия и пропитания, все больше впечатлений из чувственного мира постепенно приподнял лоб“.

О другом ископаемом быке Гете говорит: „во всяком случае это древнее существо нужно рассматривать как широко распространенную погибшую племенную расу, потомками которой можно считать обыкновенного и индейского быка“.

Первая из этих цитат принадлежит не самому Гете, а другому автору, Кёрте, но Гете говорит, что она вполне согласна с его убеждениями. Следовательно, Гете признавал происхождение современных видов от ископаемых, признавал тесное взаимодействие формы органа и его функции, чем приближался к ламаркизму. Странно, что у него не нашлось времени развить эту тему, столь важную для его общего мировоззрения, построенного на спинозизме, на единстве мира, на синтезе как основном

приеме работы, и на признании подвижности всего живого с его сложными отправлениями и формами.

Из предыдущего ясно, что если из Гете и не выработалось последовательного эволюциониста, то, все же, рассеянные по всем его естественно-историческим статьям замечания о взаимоотношениях организма и среды заставляют видеть в нем мыслителя с задатками диалектического мышления и совершенно определенное отсутствие в нем как идеалистического так, и механистического понимания природы.

V.

Историк биологических теорий Е. Радль отводит Гете довольно скромное место, причисляя его не к самостоятельным исследователям, а к натурфилософам, наряду с Кильмейером, Океном, Блуменбахом и Тревиранусом, т. е. с авторами, о которых в настоящее время мало кто помнит. Он считает его натурфилософию чисто морфологической, лишенной глубоких объяснений и говорит, что значение Гете, как поэта, придало в глазах современников его морфологическим суждениям гораздо большее достоинство, чем они имеют на самом деле. Термин „морфология“ применен впервые именно им и с его легкой руки вошел в науку.

Мы можем несколько иначе квалифицировать заслуги Гете. Он безусловно принадлежит к числу пионеров науки. Пионерская работа трудна и неблагодарна, слишком одиноко стоит исследователь со своими достижениями, чуждыми большинству, медленно и незаметно проникают эти достижения в сознание других исследователей, пока наконец данная область науки не разовьется настолько, что явится уже во всеоружии точного знания и законченных выводов, после чего делается общим достоянием. То, что в области морфологии пионером явился творец „Фауста“, к словам которого в течение полутора столетий прислушивалось все причастное к мировой литературе человечество, имело громадное значение для популяризации знания и развития науки. Метаморфоз органов был в том же XVIII веке развит частью Линнеем, частью К. Ф. Вольфом, но кто бы стал с ним считаться, если бы не Гете! А между тем, учение о метаморфозе несомненно сыграло свою роль в подготовке великих открытий из области общей биологии, которыми ознаменовался

следующий XIX век и которые связаны особенно с именем Ч. Дарвина.

В. Лихтенштадт¹ собрал ряд афоризмов, разбросанных в различных произведениях Гете, а частью и в его переписке. Оказывается, что уже в 1772 г. 23-летний Гете ясно высказал идею борьбы за существование и неоднократно возвращался к ней впоследствии: „Что мы видим в природе, это сила, поглощающая силу; ничего длительного, все мимолетно, тысячи зародышей растаптываются, каждый миг рождаются тысячи новых“... „Природа заполняет своей безграничной продуктивностью все пространство. Взглянем на одну только землю: все, что мы называем злым, несчастным, проистекает из того, что не всему возникающему она может дать место, еще менее может она предоставить ему долговечность. Все, что возникает, ищет простора и хочет долговечности; поэтому оно вытесняет с данного места другие существа и ограничивает продолжительность их существования“... „Живое существо обладает даром приспособляться к многообразным условиям внешних влияний, не отрешаясь в то же время от достигнутой им самостоятельности“.

Несмотря на всю свою поэтичность, Гете и к человеку применяет суровые нормы борьбы за существование. Возражая искусствоведу Зульцеру, который уверял, будто „природа льющимися на нас со всех сторон приятностями хотела вообще внедрить в наши души кротость и чувствительность“, он говорит: „Вообще природа никогда этого не делает; напротив, она закаляет своих истых детей против страданий и бедствий, которые она неустанно готовит, так что самым счастливым человеком мы можем назвать того, кто обладал бы наибольшей силой встретить беду, отбросить ее от себя и наперекор ей идти дорогой своей воли“.

Таким образом, поэт и министр, человек никогда не знавший нужды, Гете становится апостолом твердой воли и борьбы, как основного стимула существования. Однако, до конца он своей идеи не доводит. Как изучая метаморфоз, он не создал эволюционного учения, так и здесь, проповедуя борьбу, он не дошел до идеи классовой борьбы. Такова судьба пионеров.

¹ В. О. Лихтенштадт. Гете Борьба за реалистическое мировоззрение. П. 1920.

Если даже в естествознании вообще и в ботанике в частности Гете сделал не слишком много, то все, что он сделал, было кстати и вошло тем или иным путем в коллективную работу человечества по выработке основ современного естествознания и современного нам диалектического мировоззрения.

Будем же благодарны В. Гете за то, что он сделал.

ИСТОЧНИКИ

В полном Веймарском издании сочинений Гете научные его труды занимают 14 томов. Сверх того, много ценного разбросано в его автобиографии, в письмах, путевых очерках и в разговорах с друзьями, также изданных. Труды Гете по ботанике не так объемисты и овладеть ими менее трудно. При составлении настоящей статьи использованы следующие источники:

1. Goethe, J. W. Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären. Gotha, bey C. W. Ettinger. — Одна из первых немецких книг, напечатанных не готическим, а латинским шрифтом. Стр. 86.
2. Ouvres d'histoire naturelle de Goethe, comprenant divers mémoires d'anatomie comparée, de botanique et de géologie, traduits et annotés par Ch. Fr. Martins. Paris, 1837.
3. Goethe J. W. Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie. Stuttgart, 1817—1823.
4. Radl, Em. Geschichte der Biologischen Theorien seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts. I Teil. Leipzig, 1905, SS. 263—270.
5. Кон, Ф. Растение. Перевод ак. С. И. Коржинского. Том I. 1901, лекция III: Гете как ботаник, стр. 71—140.
6. Лихтенштадт, В. О. Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. Ред. и пред. А. Богданова. Госиздат, П., 1920.

Акад. М. Н. РОЗАНОВ

Гете и Байрон

Известно, что в последний период жизни Гете очень занимала идея так наз. „мировой литературы“, Weltliteratur, как он выражался. Он все более и более приходил к убеждению, что „поэзия есть общее достояние (Gemeingut) всего человечества“, что одной национальной литературой теперь нельзя уже обойтись, что „настала эпоха мировой литературы и каждый должен способствовать тому, чтобы ускорить ее наступление“.¹ „Каждая литература, предоставленная самой себе — говорил он — в конце концов скучает, если не освежается вновь чужеземным вкладом“.² Он стоял на точке зрения литературного космополитизма и был самым горячим сторонником международного литературного обмена. Великую пользу такого обмена он усматривал не только в отношении идейном и художественном, но и в смысле международных сношений. Каждая нация, рассуждал он, имеет свои особенности, которые, не понятые как следует, нередко являются причиной враждебного отношения к ней со стороны других наций. Широкое знакомство с литературами других народов, вскрывая их истинный облик, служит взаимному пониманию и взаимному уважению народов, а, стало быть, способствует делу мира. Гете, подобно Пушкину, мечтал о том счастливом времени, когда народы, распрю позабыв, в единую семью соединятся.

Сам Гете с чрезвычайною внимательностью следил за развитием иностранных литератур. В круг его интересов входили не только литературы германские и романские, но и античные, и славянские, и восточные, до китайской включительно. Его литературный универсализм, его широкая отзывчивость, по

¹ Eckermann. Gespräche mit Goethe, 181.

² Werke, III, 497 (Leipzig, Cotta, 1869).

выражению Боратынского, „на все, что ищет у сердца ответа“, — прямо поразительны. Оглядываясь на образование своей творческой личности, Гете придавал громадное значение тем воздействиям от других литератур, которые он своевременно получал. При этом, в каждом из периодов его жизни выдвигались отдельные писатели, которые особенно захватывали Гете. В эпоху „бурных стремлений“ руководящими светочами для него были Руссо — в области идей, и Шекспир — в сфере поэзии. В период эллинизма непререкаемым авторитетом казался ему Гомер. А пора старости ознаменовалась, на ряду с ориентализмом, горячим увлечением поэзией Байрона.

Этот последний факт особенно замечателен тем более, что Гете не только восхищался творчеством гениального певца „мировой скорби“, но и питал „влеченье, род недуга“ к самой его личности, чего не было в предыдущих его литературных привязанностях. На этом ярком эпизоде из истории внутренних переживаний Гете я и хочу остановить внимание почтенного собрания. Этот эпизод до сих пор еще недостаточно выяснен,¹ а между тем, при внимательном рассмотрении, он бросает, как мне кажется, несколько неожиданный свет на Гете в годы его старости.

На первый взгляд трудно представить себе людей более противоположных, чем престарелый Гете и Байрон в расцвете сил. Гете, казалось, пережил уже все свои внутренние конфликты и, пожиная лавры от неустанной и столь характерной для него работы над самоусовершенствованием, достиг примирения личных своих идеальных запросов с требованиями суровой действительности. Он дошел до того равновесия душевного, до той внутренней гармонии, которых тщетно добивался в эпоху создания „Гёца“, Вертера“ и „Фауста“, и на многих производил впечатление величавого и бесстрашного олимпийца, спокойно вззирающего со своей холодной высоты на людской муравейник и предавшего забвению свое прошлое со всеми его порывами и бурями.

А Байрон? Мятёжный и неугомонный, он мучительно страдал и от внутренних конфликтов, и от разлада с окружающими. Крайний индивидуалист, он громко заявлял права своей лич-

¹ Фактическая сторона отношений между Гете и Байроном всего полнее изложена в книге: J. G. Robertson. Goethe and Byron. London, 1925 (Publications of the English Goethe Society).

ности и не хотел знать никаких самоограничений, никаких компромисов, никаких препон своей притязательной воле. Он был весь порыв, весь кипение и горение. В противоположность гетевскому политическому модерантизму, он был настроен не только радикально, но и революционно. Отдаленный потомок скандинавских морских викингов, „пилигрим вечности“, как назвал его Шелли, он был прирожденным скитальцем и совершенно чуждым тех буржуазных добродетелей — умеренности и степенности — которые, как-ни-как, были дороги гениальному Франкфуртскому бюргеру.

И тем не менее, несмотря на такое, казалось бы, полнейшее расхождение натур, нашлись, однако, точки соприкосновения между ними, которые повели к сближению и глубокому взаимному уважению.

Инициатива принадлежала Гете. С первых шагов блестящей литературной карьеры Байрона, начавшейся в 1812 г. с опубликования двух первых песен „Чайльд-Гарольда“, Гете следил с неослабевающим вниманием за всеми новыми проявлениями его изумительного таланта. Одновременно с поэзией он начал интересоваться и выдающейся личностью английского поэта. Ревностный читатель английских журналов, он в марте и апреле 1816 г. прочел там все, что касалось семейной драмы Байрона, его развода с женой, возбудившего бурю негодования в лицемерной английской аристократии, которая сумела отравить жизнь поэту в Англии и заставила его променять родину на Италию. „Стихотворения“ Байрона, его поэмы „Корсар“, „Лара“, „Шильонский узник“ и т. д. увлекли Гете. Но особенное впечатление произвел на него „Манфред“. Эта драматическая поэма, герой которой имел много сходства с „Фаустом“, захватила Гете за живое. Не отрываясь, он прочел ее два раза подряд и принялся немедленно за перевод мест, которые ему особенно понравились (первый монолог 2-го акта, заклинание монолог 2-го акта, диалог Манфреда с Астартой). В 1818 г. Гете пытался войти в личные сношения с Байроном, проживавшим тогда в Венеции. Молодому Шопенгауэру, известному впоследствии философу, направлявшемуся в Италию, он дал рекомендательное к Байрону письмо, которое, однако, по неизвестным нам причинам, не дошло до своего назначения. В июле 1819 г. были напечатаны две первых песни поэмы „Дон-Жуан“, которые, сделавшись известными Гете весной 1820 г., привели его в полный

восторг, и он немедленно перевел на немецкий язык пять первых вступительных актов.

С другой стороны, Байрон очень был польщен напечатанным в журнале „Kunst und Alterthum“ за 1820 г. весьма сочувственным отзывом о „Манфреде“ Гете — „этого, — как он выразился в одном письме, — величайшего среди немцев, а может быть, и во всей Европе человека“. Как оказалось, и у него было сильное тяготение к Гете, которое он, к сожалению, не мог удовлетворить вследствие недостаточного знания немецкого языка. В разговоре с Медвином он сделал следующее ценное признание: „Меня чрезвычайно интересует все, касающееся Гете, и я радуюсь при мысли, что существует некоторая аналогия между нашими характерами и произведениями. Так велик мой интерес к нему, что я предлагал 100 фунтов стерлингов тому, кто согласился бы перевести его „Автобиографию“ для моего личного употребления... Я бы весь свет отдал за то, чтобы читать „Фауста“ в оригинале“. Байрон убеждал Шелли приняться за перевод этой трагедии, но тот дальше нескольких отрывков не пошел. И вот, Байрону пришлось довольствоваться только тем, что переводил ему из „Фауста“ Льюис в Coligny, близ Женевы (1816), *viva voce*, т. е. устно. Тем не менее, Байрон был, по его словам, „прямо поражен“ этим произведением (V, 36—32). Только в 1821 г. появился английский перевод „Фауста“, с которым поэт ознакомился во время своего пребывания в Пизе (1822).

Байрон не мог не признать себя литературным должником Гете и посвятил ему две своих трагедии: „Сарданапал“ и „Вернер“. Первое из посвящений гласило так: „Великому Гете иностранец дерзает поднести дань уважения литературного вассала своему ленному господину, первому из современных писателей, создавшему литературу в своем собственном отечестве и прославившему литературу европейскую“.

В 1823 г. Гете с громадным интересом читал все новые произведения Байрона: „Каина“, „Небо и земля“, „Сарданапал“, „Двое Фоскари“ и т. д. и отчасти писал на них рецензии, отчасти делился восторгами со своими посетителями. Весною 1823 г. он получил короткое письмо Байрона из Генуи, а в июне, узнав о намерении английского поэта отправиться на борьбу за освобождение греков, послал ему в напутствие прочувствованное стихотворение („Лорду Байрону“).

За словом слово дружбы к нам доходит,
 Дарит нас с юга радости часами
 И к благородным странствиям уводит —
 Мы скованы не духом, а ногами.
 Мой дух давно его сопровождает.
 И что, как друг, ему отправлю в дали?
 Он сам себя в душе опровергает,
 Нести приученный миры печали.
 Себя почувствовать ему довлеет,
 Назвать себя счастливым пусть дерзает,
 Раз сила Муз страданье одолеет
 Как познан мной, пусть сам себя познает¹

Это стихотворение попало в руки Байрона в Ливорно, и он 24 июля 1823 г. в самый день отплытия своего в Грецию написал Гете прощальное письмо, выражая намерение посетить Гете в Веймаре по возвращении из Греции. Но вернуться ему оттуда не пришлось. 19 апреля 1824 г. его не стало.

Новое стихотворение Гете („Лорд Байрон“) оканчивалось следующими строками:

Им владей Historia,
 Укротим страдания,
 Доля ему — Gloria,
 Доля нам — стенанья.²

Мимолетны были личные, и то издалека, отношения между двумя гениальными поэтами, но они не прошли даром для обоих. Если в „Манфреде“ Байрона влияние „Фауста“ сказывается лишь слегка, а сам поэт, лично переживавший трагедию своего героя, энергично отрицал свою зависимость от гетевской трагедии, то в новой драме „Преображенный урод“ он уже вполне сознательно берет фаустовскую тему, на что сам и указывает в предисловии. Выводимый там, по выражению Гете, „перелетный дьявол“ (он носит у Байрона странное имя Цезаря) не что иное, как тот же Мефистофель. Также и в пьесе „Небо и земля“, которой Гете особенно восхищался, сам Байрон усматривал некоторое сходство с „Фаустом“.³ Кроме того, для Байрона, гонимого в Англии, заклеянного там кличкой

¹ Пер. М. Кузьмина (Гете. Собрание сочинений в 13 тт., под редакцией Л. Б. Каменева, А. В. Луначарского и М. Н. Розанова, Москва и Ленинград, 1932, т. I, стр. 502).

² Пер. М. Кузьмина, там же.

³ Letters and Journ., VI, 32.

главы „сатанинской школы“ поэзии, имела большое моральное значение поддержка со стороны общепризнанного главы европейской литературы того времени.

Отношения Гете к Байрону несколько напоминают отношения Жуковского к Пушкину: такое же восхищение, соединенное с отеческою нежностью и желанием предостеречь молодого увлекающегося друга от ошибок и крайностей. И Гете пришлось оплакать преждевременную смерть любимого соратника, и он свято хранил у себя все его реликвии.

В знаменитом „красном портфеле“ он тщательно сберегал все документы, касавшиеся его отношений к английскому поэту. Эккерман рассказывает трогательную сцену, разыгравшуюся однажды у Гете за семейным столом: Гете просил дочь свою, Оттилию, отдать ему, для приобщения к другим документам, одно из писем Байрона, хранившееся у ней. Но Оттилия, как оказывается, сама была страстной поклонницей Байрона и ни за что не хотела удовлетворить просьбу отца, ссылаясь на то, что сам же он подарил ей эту драгоценность. Это очень типическая черточка, бросающая свет на тот пизетет, который царил в доме „тайного советника“ фон Гете по отношению к мятежному лорду, ниспровергавшему все авторитеты и не щадившему никого в своих саркастических нападках. С своей стороны и Байрон, не выносивший ни малейшей опеки над своею личностью, охотно признавал Гете своим „заступником и покровителем“.¹

Тот же Эккерман рассказывает, что всякий раз как заходила речь о Байроне, Гете был „прямо неистощим“ в своих речах и суждениях о нем. Это была его любимая тема, на которую он не мог достаточно наговориться. Чрезвычайно интересно, конечно, прислушаться к отзывам писателя, которого не кто иной, как знаменитый Сент-Бев, называл величайшим критиком XIX в.

Все суждения Гете о Байроне в сущности сводятся к признанию необычайного таланта английского поэта. „Это великий талант — говорил Гете — талант прирожденный“. „Ни в ком я не наблюдал в такой степени подлинной поэтической силы. В понимании окружающей действительности и в ясном прозрении прошлого он так же велик, как Шекспир“. „Лучшего представителя поэзии новейшего времени невозможно себе и вообразить; без

¹ Letters. and Journ. VI, 73—74.

всякого сомнения, он величайший талант нашего века. И этот талант его есть нечто совершенно несоизмеримое (incommensurabel)“.

Гете ставил Байрона выше своего прежнего любимца и героя известной трагедии, Торквато Тассо. „Байрон — замечал он — превосходит итальянского поэта силою ума, знанием света и непосредственною творческою силою. Байрон — пылающий терновник, испепеляющий святой кедр Ливана. В течение столетий упрочилась слава великой поэмы Тассо, но одной единственной строчкой „Дон-Жуана“ можно было бы отравить весь „Освобожденный Иерусалим“.

Поэму „Дон-Жуан“ Гете называл „бесгранично-гениальным созданием, с ненавистью к людям, доходящей до самой суровой жестокости, и с любовью к людям, доходящей до глубины самой нежной привязанности“. Весьма знаменательно, что Гете высоко ценил не только „Дон-Жуана“, но и другие сатирические произведения английского поэта. Его увлекла также и юношеская задорная и блестящая литературная сатира Байрона „Английские барды и шотландские критики“, и он также принялся за перевод ее. Наконец, одна из самых резких и беспощадных политических сатир Байрона „Видение Суда“, бичующая английского короля, „третьего из глупцов, называемых Георгами“, привела Гете в полный восторг. Крабб Робинзон рассказывает, что когда он читал Гете эту сатиру, тот „восхищался, как дитя“ и сопровождал чтение восклицаниями: „Очень зло! Божественно! Великолепно!“ „В этой сатире — заметил Гете — Байрон превзошел самого себя... Он неподражаем, и никогда не будет поэта, равного ему“.

Надо ли напоминать о том, что сатиры Байрона отличаются резко оппозиционным характером, ведут отчаянную борьбу против разгула тогдашней реакции, громко проповедают свободу как отдельных людей, так и целых народов, и заключают в себе нередкие призывы к революции. Надо ли напоминать, что проводя семь последних лет своей жизни в Италии, Байрон был деятельным сочленом тайного революционного общества „Карбонариев“. И все это несколько не отпугивает Гете, но, наоборот, привлекает его. И это понятно. Ведь, сатирические силою дремали и в самом Гете, хотя, может быть, и не вполне успели проявиться. Достаточно вспомнить его колкие „Венецианские эпиграммы“, его сатирические выходы в „Reinecke

Fuchs“ и во многих других случаях. Сатирический задор не покидал Гете и в старости. Об этом свидетельствует, между прочим, А. И. Тургенев, бывший несколько раз гостем Гете. 3 сентября 1829 г. он писал Жуковскому: „В Веймаре в первый раз в жизни насладился я беседою с Гете за бутылкою вина и осыпaeмый острым огнем Гете-сатирика над философами берлинскими“.

Восторгаясь Байроном, как гениальным поэтом, Гете восхищался им и как человеком, совершенно выходящим из ряда вон. Он причислял Байрона к разряду совершенно исключительных натур, носящих на себе печать избранничества, обладающих необъяснимым даром привлекать к себе людей и оказывать на них влияние. Этот дар Гете обозначал *attrattiva*, а высокие свойства, отличающие подобных избранников, называл, за неимением другого термина, „демоническим“ началом. Это начало, по его словам, было чрезвычайно действенно в английском поэте, а даром *attrattiva* он обладал в такой степени, что невозможно было противиться его чарам.

Из своих современников Гете знал только двух таких избранников, отмеченных чертами „демонизма“, Наполеона и Байрона, И к ним обоим чувствовал он неодолимую симпатию, как резко очерченным индивидуальностям необычайного размаха и силы. Оба они дали возможность Гете наблюдать воочию такой крайне редкий тип людей-титанов, которым он увлекался в молодости, чувствуя в себе подобные черты и создавая Фауста, Прометея, Магомета и т. д.

Теперь посмотрим, не отразилось ли это увлечение Байроном и в собственном творчестве Гете. Кто бы мог ожидать, чтобы давно прославленный писатель испытал на себе влияние своего младшего современника? Между тем, так и было. Первое свидетельство — знаменитая Мариенбадская элегия, признаваемая одним из перлов гетевской лирики. Но этот перл — плод старческих лет поэта и возник под влиянием охватившей его чисто-юношеской страсти к молодой девушке, Ульрике фон-Левецов. В противоположность многим другим лирическим произведениям его старости, отмеченным печатью некоторой отвлеченности, схематичности и, так сказать, бестелесности, эта элегия полна жизни, глубокого чувства, непосредственных, из жизни схваченных переживаний. И вот, в беседе с Эккерманом Гете признался, что в этой элегии он подчинился влиянию байронов-

ской лирики с ее необычайной искренностью и смелостью в изображении самых интимных чувств. Все это было и в лирике самого Гете, но с годами несколько сгладилось и ослабело. Пример Байрона помог Гете вернуться на прежнюю стезю.

Вторым свидетельством этого влияния, еще более значительным, является величайшее создание гетевского творчества. Имя Байрона оказалось на-веки связанным с „Фаустом“ и именно со второю его частью. Под впечатлением смерти Байрона (1824) Гете вновь принялся за обработку заброшенной им трагедии, а когда он изображал кончину Фауста и его похороны на полях Пелопонеса, пред ним постоянно мелькал образ Байрона, погибшего в Миссолонги. А через два года, в 1826 г., Гете счел уместным издать из второй части, далеко еще не законченной, один эпизод под заглавием: „Елена. Классическо-романтическая фантазмагория“, который составил впоследствии 3-й акт трагедии. Предполагается, что это сон Фауста. Ему снится, что от брака с классической Еленой, которую сумел оживить Мефистофель, у них родится сын Евфорион, необычайно одаренный от природы. И вот, этот Евфорион в представлении Гете слился воедино с образом никого другого, как Байрона. И этот чудюноша, мелькающий в жизни как блестящий метеор и делающий печальною жертвою своих возвышенных и благородных порывов, прекрасно олицетворяет собою Байрона, его идеально-направленный беспокойный ум, его стремление ввысь, к свету и свободе. В уста хора троянских женщин, оплакивающих преждевременную смерть Евфориона, Гете вложил следующие прочувственные слова:

Плач не нужен погребальный;
Нам завиден жребий твой!
Жил ты светлый, но печальный,
С гордой песнью и душой.
Ах! рожден для счастья был ты!
Древний род твой славен был.
Рано сам себя стубил ты
В полном цвете юных сил.
Все имел ты: взгляд глубокий,
Быстрый ум и сердца жар,
И любовь жены высокой,
И чудесных песен дар.
Ты летел неудержимо,
В даль неволью увлечен,
Ты презрел неукротимо

И обычай, и закон.
Светлый ум к делам чудесным
Душу чистую привел:
Ты погнался за небесным,
Но его ты не нашел.
Кто найдет? Вопрос печальный!
Рок ответа не дает,
В дни, когда многострадальный,
Весь в крови, молчит народ...

(Пер. Н. Холодковского).

Если вдуматься внимательно в эти строки, легко увидеть в них прочувствованную характеристику Байрона и как поэта, и как человека. Не забыто даже его знатное происхождение, его лордство, не забыта подруга последних лет его жизни, графиня Тереза Гвиччиоли, скрасившая ему существование в Италии. Не забыты также его мятежный дух, его оппозиционное настроение, его освободительные порывы. Положительно можно сказать, что никакой другой поэт в мире никогда не устоялся такого апофеоза.

Думается также, что развязка „Фауста“ с преодолением героем трагедии эгоизма и эгоцентризма, с выходом на широкую дорогу служения общественному благу, которое одно только дает ему право сказать: „Остановись, мгновенье, ты прекрасно!“ — что эта развязка навязана, хотя бы отчасти, судьбою Байрона. Конечно, общая концепция „Фауста“ была задумана много раньше, и будущий исход душевной драмы героя указан уже в „Прологе на небе“, — но очень важно было то, что в лице и на примере Байрона Гете живьем наблюдал подобный процесс преодоления индивидуализма, который привел к тому, что поэт „мировой скорби“ пожертвовал жизнью в борьбе за освобождение греков. Общая концепция, которая должна была отражать и собственный жизненный опыт Гете, была поддержана совершившимся на глазах случаем из реальной действительности, и это не могло не утвердить поэта в замысле именно так окончить трагедию.

Все изложенные мною отношения Гете к Байрону, если к ним приглядеться внимательнее и найти их внутреннюю основу, бросают, как мне кажется, новый свет на личность Гете в старости. Очень часто изображают его уравновешенным „олимпийцем“, давно уже окончательно изжившим все порывы молодости, поли-

тически совершенно отсталым, величавым, но холодным и невозмутимым.

Но как с таким образом бесстрастного „олимпийца“ согласовать увлечение Байроном и его поэзией? Нельзя же утверждать, что Гете увлекался этой поэзией исключительно с чисто художественной точки зрения, подходил к ней лишь с эстетическими требованиями. Неужели же содержание байронической поэзии не играло при этом никакой роли? Ведь, в глазах Гете, тесная органическая связь соединяет в поэзии содержание и форму. Мог ли Гете увлекаться блестящей оболочкой поэзии Байрона и при этом игнорировать ядро этой поэзии, самую ее сущность? К тому же, поэзия эта чрезвычайно субъективна, была лишь ярким отражением его мятущейся личности и совершенно неотделима от нее.

Но Байрон сам недаром отмечал, как мы видели, сходство между собою и Гете в натурах и произведениях. И если мы будем сравнивать Байрона с молодым Гете эпохи „бурных стремлений“, то несомненно уловим это сходство, своего рода *Wahlverwandtschaft*. Это родство часто оказывается разительным. Герои Байрона — все эти Чайльд-Гарольды, гяуры, Селимы, Конрады, Манфреды, Каины и т. д. имеют очень много общего с Гёцем ф. Берлихинген, Вертером, Прометеем, Магометом, Фаустом. Все они — явления одного и того же культурно-исторического порядка, хотя и различных эпох. Излюбленный Байроном тип „мирового скорбника“ играл уже существенную роль в творчестве Гете. Его Вертер вместе с шатобриановским Ренэ — прямые предшественники этого типа. И что такое байроновский Манфред, как не гениальная вариация на фаустовскую тему?

Можно сказать, что, увлекаясь Байроном, Гете переживал вторично свою молодость, и в его памяти восставало „много милых теней“, и он мог вновь переиспытать то настроение, которое бурлило и кипело в нем, когда он создавал эти типы и писал свою „Песню странника в бурю“, „*Wanderer's Sturmlied*“. Переживал он также и свое путешествие в Италию, которою, подобно ему, так восхищался Байрон.

Но такую реставрацией образов прошлого, безвозвратно канувших в вечность, нельзя, конечно, объяснить всего того очарования, которое испытывал престарелый Гете, читая произведения „властителя дум“ молодого поколения. Очевидно, в самом себе он находил живые, не отмершие отклики на его поэзию.

Социально-политическая насыщенность творчества Байрона, его ниспровергающая всё оппозиционность, его радикализм и революционность были совершенно ясны Гете. Эти элементы он отчетливо подчеркнул, назвавши сочинения Байрона „непроизнесенными парламентскими речами“ (*verhaltene Parlamentsreden*). Он приравнивал Байрона к Шиллеру, которого сам же назвал „певцом свободы“, и этим он вскрывал основной жизненный нерв творчества автора „Дон Жуана“, на знамени которого пламенными буквами было начертано слово „Освобождение“, и политическое и социальное. „Ему везде было тесно — замечал Гете, — и при самой безграничной личной свободе он чувствовал себя стесненным: мир казался ему тюрьмою“. ¹

В борьбе Байрона против господствующей реакции 20-х годов, против тирании всякого рода, против лицемерия, пошлости, бессердечия и жестокости он вполне на стороне поэта-сатирика. Он возмущался теми преследованиями, которые чинили Байрону представители буржуазии, его порицатели. „Стоя на точке зрения своей буржуазной морали — замечал Гете, — они не сумели рассмотреть его заслуг и достоинств, которые оказались выше их понимания“. ² Он причисляет Байрона к числу мучеников и жертв недостойной их среды. „Злые языки — говорил он — изгнали Байрона из Англии, и ему в конце концов пришлось бы бежать на край света, если бы ранняя смерть не освободила его от филистеров и их ненависти“. ³

Могло ли у него быть такое отношение к английскому поэту, если бы они совершенно расходились в мировоззрении, если бы „правда“ Байрона не имела ничего общего с „правдой“ Гете? Заметим, что Гете ни разу не осуждает Байрона за его мирозерцание в его сущности. Единственный упрек, который он ему делал, был тот, что Байрон идет иногда чересчур далеко, что у него слишком много негативного элемента, что он сверх меры мучит себя своим мрачным настроением (*Eckermann*, 434—435). Значит, дело шло лишь о количестве, а не о качестве.

Глубоко погрешают против истины те, которые называют старого Гете то ретроградом, то консерватором. Против подобных кличек, очень распространенных в его время, он очень

¹ *Eckermann*, 117.

² *Ibid.*, 128.

³ *Ibid.*, 582.

энергично протестовал, утверждая, что он никогда не стоял, чтобы то ни стало, за *status quo*, а всегда считал необходимыми реформы. Припомним, что в „Годах странствий Вильгельма Мейстера“ он даже начертил целый план социальных преобразований. Затем, надо иметь в виду, что любимым чтением Гете в старости был журнал „Globe“, орган французских либералов. Их политическая платформа казалась ему наиболее приемлемой. В последних юбилейных работах француза Loiseon (*Goethe et la Révolution française*) и немца Кампе (*Der literale Gedanke in Goethes Weltanschauung*) усиленно подчеркивается тяга Гете к тогдашнему либерализму, который вступил в борьбу с торжествовавшей реакцией. Гете очень хвалил Гизо за его „просвещенный либерализм“ и сам охотно называл себя „умеренным либералом“. В мирозерцании Гете были, несомненно, точки соприкосновения с тогдашним теоретическим либерализмом.

Если это так, то нам делается все понятным в отношении Гете к Байрону, который как раз являлся главою европейской либеральной оппозиции против реакции той эпохи.

Обращает на себя внимание еще один пункт. В последнее время англичанин Робертсон (*Goethe and Byron*) и француз Бальденсперже (*Revue de littérature comparée*, гетевский юбилейный номер) выставили новую оригинальную гипотезу, что Евфорион в „Фаусте“ вовсе не является символическим изображением Байрона. Они основываются главным образом на том, что эпизод об Елене был задуман значительно раньше, чем Гете познакомился с сочинениями Байрона, а также на том, что погребальный хор, оплакивающий смерть Евфориона, находится в некотором противоречии с предыдущим изображением этого юноши. Бальденсперже длинной и интересной аргументацией старается доказать, что, по замыслу Гете, Евфорион изображает собою не что иное, как „гения французской революции“. Я не имею возможности здесь перед вами разбирать эту гипотезу, весьма на мой взгляд правдоподобную. Но нельзя не заметить, что, в разговоре с Эккерманом, сам Гете, хотя и признавал указанное несоответствие, но, вместе с тем, не считал нужным опровергать установившееся мнение о прикосновенности Байрона к этому эпизоду.

Весьма возможно, что Евфорион впервые действительно был задуман как „гений французской революции“, но затем в представлении Гете этот образ у него слился с Байроном, „рево-

люционный дух" которого, как мы видели, он сам подчеркивал. И получилась та сложная, напоминающая „Божественную комедию“ Данта, символика, к которой так склонен был Гете в последний период своей жизни.

Но если так, то это только подтверждает проводимую мною мысль, что сочувствие к поэзии Байрона было связано у Гете с сочувствием и к его образу мыслей, не во всех, конечно, частностях, но, по крайней мере, в общем их направлении, в основной линии. В политически отсталой реакционной Германии 20-х годов Гете чувствовал себя не по себе. Его тянет к чему-то более свежему, менее затхло-провинциальному. Его сочувствие Байрону, вождю либеральной оппозиции, стоявшему на крайней левой тогдашней политической мысли, чрезвычайно красноречиво.

Эккерман замечает, что портретов Гете много и часто весьма непохожих друг на друга. И, тем не менее, он находит, что все они похожи на оригинал. Дело в том, что натура Гете была многогранная, и образ его являлся многоликим в соответствии с его настроением в данный момент, с занимавшими его мыслями, переживаемым впечатлением и т. д. Вот почему существует такое разнообразие отзывов о нем. Основной дуализм его, борьба в нем разных элементов, воплощался в длинном ряде создаваемых им образов: это контраст Фауста и Мефистофеля, Тассо и Антонио, Вертера и Альберта, Бомарше и Клавиги и т. д. Все это показатели его глубокого внутреннего разлада. В старости этот разлад значительно сгладился, но не исчез окончательно. И к этому прибавился еще дуализм другого рода. Было два Гете: Гете официальный, связанный с Веймарским двором, с высокопоставленными лицами, сановник, вынужденный держаться общепринятого этикета, но был также и Гете интимный, поэт, ученый и мыслитель, каким он был сам по себе в глубине своего сознания, тот самый, который когда-то спасался в Италии от растлевающей атмосферы двора. Этот интимный Гете выражался гораздо менее в печатных своих произведениях, чем в дружеской переписке и в беседах с симпатичными ему людьми. Байрон лишний раз пробудил в нем этого интимного человека, и сочувствие к нему приоткрыло для нас завесу душевных переживаний великого старца.

Близорукие люди принимали его уравновешенность (и то относительную) за бесстрастие, его спокойствие за равнодушие,

его осмотрительность за безразличие, его ровность в обращении за холодность. Гете-старик вовсе не был отжившим человеком, сжегшим все, чему он прежде поклонялся. Увлекаясь необычайной личностью Байрона, зачитываясь его гениальной поэзией, Гете не только переиспытывал переживания своей собственной молодости, но и находил в самом себе, каким он был в последние десятилетия жизни, сочувственные отклики на все, что составляло жизненный нерв общественно-политической деятельности „пилигрима вечности“ и содержание его поэзии. Увлекаться же одновременно Байроном и быть невозмутимым „олимпийцем“ — две вещи, несовместимые друг с другом.

Итак, нужно исправить нередкое представление о старости Гете. Ее нельзя приравнять к ледяной, мертвящей зиме, убивающей все ростки жизни. Она скорее похожа на ту осень, которую воспевал Тютчев, с ее „прозрачным воздухом“, „хрустальными днями“ и „лучезарными вечерами“. Эту осень своей жизни, обильную жатвою и янтарными плодами, Гете умел чудесно сочетать с животворящим веянием молодой всеобновляющей весны, которое никогда не замирало в глубине его творческого духа.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Автографы Гете в собраниях Академии Наук СССР

Приготовил к печати Б. В. Томашевский

В архиве Института русской литературы (ИРЛИ) Академии Наук СССР хранятся следующие документы, связанные с именем Гете:

I

Zu Goethes Denkmal was zahlst du jetzt
Fragt dieser, jener und der!
Hätt ich mir nicht selbst ein Denkmal gesetzt
Das Denkmal wo käm es denn her?

Написано рукой Гете на сером листке верже размером 139 × 100, чернила. Подпись взята из другого места и приклеена к этому листку позднейшим владельцем.

Напечатано в Веймарском изд., 5. Band (1893), S. 103 (Nachlass. Zahme Xenien).

Находится в составе собрания А. Ф. Онегина. Шифр ИРЛИ 28665/CCV6 26.

II

Wenn ich dein gedencke
Fragt mich gleich der Schencke:
Herr! Warum so still?
Da von deinen Lehren
Immer weiter hören
Laki gerne will

Wenn ich mich vergesse
Unter der Cypresse
Hätt er nichts davon,

Und im Stillen Kreise
Bin ich doch so weise
Klug wie Salomon

Написано рукой Гете чернилами на четвертке писчего листа серой бумаги верже размером 210 × 171.

На том же листке надпись чужой рукой: Ich bestätigte dass dieses Blatt Göthe's Handschrift sey. Joh. Edler von Mosel.

Стихотворение входит в состав сборника West-östlicher Divan. См. Веймарское изд., 6. Band (1888), S. 174. Разночтения в знаках сближают данный автограф с первоизданием.

Входит в состав собрания А. Ф. Онегина, которым приобретено на аукционе (к автографу приложена вырезка из каталога автографов). Шифр ИРЛИ 28664/ССVб 26.

III

ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСИ

Л. 1

Agenda

d. 8 Jul. 1816

Untere Hirsch Kinlade

Fossil. 4 Z. 5 Lin.

Natur 2 8 Lin.

Höhe von der Base

bis auf die Zahn

Kronen.

Diplome

Rhein u Mayn.

Zelter Gesänge

Serenissimo

Russland.

Meyer Blumen.

Pietra fungaja Nees.

{ Boisserée Rolle

{ Brief.

Schadow

Gubi

Eichstedt Recen.

Votum wegen der Glaswaaren
und Verordn.

— wegen Goebels.

Fromman.

Kupfer Platte bis. Karte

Architect Steiner

Bau Esplanade

Zeichen Schule Thüre.

Cotta wegen Genast

Л. 2

(начало чужой рукой)

Agenda
d. 19 July 1816

Mathilde
Paq. an Zelter
Paq. nach Petersburg.
an Vulpius
An Meyer.
Medaillen Nachtrag.
Medaillen Serenissimo
Zelter.
Sartorius.
Kaempfer. mineral. Wasser.
Schultze Brief.
Seebeck
Lieber
Voigt Schwänchen
Nummern Kirchner.
Vergl. Anatomie.

(рука Гете)
(чужая рука)
(отсюда рука Гете)

Написано чернилами на писчем листе серой бумаги верже формата 200×334 . Весь первый лист и пять последних строк второго листа (кроме имени Lieber) — рукой Гете; начало второго листа — чужой рукой (вероятно Kräuter'a). Заполнены лицевые стороны листов (нечетные страницы), обороты же (четные страницы) оставлены чистые. Дата на первом листе неотчетлива: можно прочесть 1810. Однако, содержание записи с совершенной несомненностью указывает на 1816 год.

В левом столбце помещены измерения челюсти ископаемого и обыкновенного оленя; очевидно, это связано с занятиями сравнительной анатомией и палеонтологией. Ниже слово Diplome находит объяснение в письме Гете к J. G. Lenz'у от 10 июля 1816: „Ew. Wohlgeb. ersuche mir ein Dutzend besiegelte Diplome zu übersenden, die Namen in blanco. Ich werde in einiger Zeit eine Reise machen und würde manchen braven Mann erfreuen wenn ich ihn als Theilnehmer unserer Bemühungen anerkannte“.

Rhein und Maun — издание, которым Гете в это время был занят: Kunst und Alterthum in den Rhein- und Maingegenden.

Zelter — друг Гете, композитор (1758—1832), состоявший с ним в переписке. 22-го июля он писал Цельтеру: „Eh ich reise schick ich ein Exemplar deiner Lieder an André nach Offenbach“. Возможно, что посылка песен состоялась именно 8-го, когда Гете уже готовился к скорому отъезду.

Записи правого столбца относятся главным образом к письмам, которые Гете намеревался написать и которые он действительно писал 8 июля или в ближайшие дни.

Serenissimo — великому герцогу Карлу Августу. Russland — кому именно, из записи неясно. Meyer — J. H. Meyer (1759—1832), художник и археолог, друг Гете, преподаватель в основанной им школе рисования, о которой говорится в конце записи на 8 июля. С ним Гете собирался ехать в Баден и виделся в эти дни ежедневно. Так, в дневнике на 8 июля читаем: „Hofr. Meyer, mit demselben spazieren gefahren“.

Pietra fungaja Nees — письмо к Nees v. Esenbeck было написано 10 июля 1816 года. Оно начинается словами: „Die sogenannte Pietra fungaja wird in Wörterbüchern und sonst als ein Kalktuff beschrieben, auf welchem Schwämme wachsen“. В дневнике Гете на 12 июля читаем: Kästchen an D. Nees von Esenbeck in Sickershausen bey Kitzingen (mit Pietra fungaja)“. (Почти буквально то же самое в дневнике от 10 июля.)

Boisserée Rolle — письмо Boisserée написано 10 июля; в нем есть фраза: „Hierbey eine Rolle von dem guten Rabe“. В дневнике на то же число: „Brief an Boisserée mit Rabes Rolle“.

Schadow (1764—1850), скульптор — есть письмо к нему Гете от 10 июля.

Смысл следующей строки — Gubi — неясен. Быть может это недописанная фамилия Gubitz. Это был журналист, гравер и издатель (1786—1870), с которым в эти дни Гете имел дела, как он писал о том Котта 26 июня: „Wegen der Druckerstöcke zu einer dereinstigen anstandigen Ausgabe des ganzen Divan werde ich mich mit Herrn Gubitz in Berlin in Connexion setzen, auch wegen des Preises und der Zeit zu conveniren suchen“.

Далее запись соответствует письму Гете к Eichstädt'y от 9 июля: „Und nun hätte ich noch einen Wunsch, dass Sie mir die Recensionen, die ich zur Allgemeinen Litteraturzeitung geliefert, und die Stücke, worin solche befindlich, geneigtest ausziehen liessen und womöglich in den nächsten Tagen, da ich zu Ende des Monats in's Bad reisen gedenke“.

Следующая запись находит истолкование в дневнике Гете от 12 июля: „Brief an Kastellan Kirchner wegen Glasbestellung für Jena... Die Glaswaarenbestellung durch Körner gänzlich abgethan“.

Несколько ниже упоминаемый Göbel — студент (der junge Göbel, Studiosus Göbel); по поводу пособия ему Гете обращался к Voigt'y 13 июля и к профессору химии в Иене Döbereiner'y 16 июля.¹ Вероятно это тот же самый Göbel, письмо к которому далее воспроизводится.

Frommann — ему в Иену Гете писал 16 июля (о корректурах).

Kupferplatte — клише, о которых Гете писал Эйхштедту 16 июля, одновременно с напоминанием о рецензиях: „Mögen Sie mir die Kupferplatte mit den nächsten Boten übersenden, so könnte in meiner Abwesenheit die Vorbereitung zu meinem Hefte der „Münzbelustigungen“ geschehen, welche wir heraus-

¹ Последнее письмо Гете не дошло до нас, но о нем сохранилась запись в его дневнике: „Erlass an Bergrath Döbereiner wegen den 50 rh. für den Studiosus Goebel, Erlass an Kühn wegen Auszahlung derselben“ (E. W. G. Kühn был в Иене Rentcommissar). Под 21 июля в дневнике значится: „Famulus Goebel von Jena sich bedankend“.

zugeben willens sind“. Об этих клише уже упоминалось и в письме к нему же от 9 июля: „Vielleicht borgen oder überlassen Ew. Wohlgeboren mir die Platte zu einer Ausgabe des Catalogs meiner Münzsammlung“.

Дальнейшие записи дня относятся к работам по постройке эспланады и рисовальной школы. Об этом Гете писал Voigt'у 26 июня, о том же он сообщал вел. герцогу в письме от 19 июля: „die Zeichenschule im Jägerhause ist eröffnet worden... Der Anbau auf der Esplanade ist auch im vollen Gang“. В постройке эспланады участвовал архитектор Фр. Хр. Штейнер, как об этом явствует из письма Гете к Voigt'у от 26 июня 1816: „Ew. Excellenz finden anbey den von Architect Steiner gefertigten Anschlag zu dem Angebäude auf der Esplanade... Serenissimus sind bey mündlichem Vortrage hievon unterrichtet und ich glaube wir können nicht fehlen wenn wir dem Architect Steiner auftragen nunmehr die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, die Accorde abzuschliessen und die Zeit zugleich zu bestimmen, wann das Ganze fertig seyn kann und soll“.¹

Последняя запись — Cotta — имеет в виду жившего в Штуттгарте известного публициста, политического деятеля и издателя, в журналах которого Гете участвовал (1764—1832). Существует письмо к нему Гете от 8 июля 1816 г. в котором Гете дает ему разные поручения в связи с предстоящей поездкой. Однако, в Agenda отмечено не это письмо, откуда можно заключить, что эти Agenda составлялись уже после отправления письма к Котта. Запись расшифровывается дневником Гете от 12 июля: „Brief an Dr. Cotta in Stuttgart wegen der Zahlung an Ed. Genast“. Сохранилось и самое письмо, разъясняющее хлопоты Гете о Э. Генасте (1797—1866, впоследствии известный певец и драматический актер): „Der Überbringer des Gegenwärtigen ist Herr Eduard Genast, Sohn unseres verdienten Regisseurs, als Sänger und Schauspieler viele Hoffnung gebend. Sein Vater, ob er gleich dem jungen Mann nicht gerade misszutrauen Ursache hat, möchte doch eine grössere Summe Geldes nicht auf einmal in seine Hände geben. Wollten daher Ew. Wohlgeb. die Gefälligkeit haben, die Einrichtung zu treffen, dass er jede Woche vierzehn Gulden rheinisch auf Ihrem Comptoir gegen Quittung erheben könnte, so würde es als eine mir selbst erzeugte Gefälligkeit ansehen und mich zur Erstattung des Auslagen bekennen ergebenst J. W. v. Goethe Weimar d. 12 July 1816“.

В дневнике Гете день 8 июля описан в полном согласии с записями Agenda: „Allerley expedirt und besorgt. Neben stehende Sendung an Cotta bewerkstelligt. An Cotta Paquet 10. Band meiner Werke inliegend und die Druckerstöcke. Ordnung in verschiedenen Dingen. Zelter früh abgereist. Vorbereitungen zur Reise. Mittag mit August. Zu ordnen fortgefahren. Frankfurter gelehrte Zeitungen durchgesehen. Hofr. Meyer, mit demselben spazieren gefahren. Abends zusammen“.

¹ Постройка эспланады была связана с оборудованием школы; об этом пишет Гете в своих Tag- und Jahreshften 1816 г.: „Die Weimarische Zeichenschule hatte sich in eine grosse Veränderung zu fügen. Da das alte Local zu andern Zwecken bestimmt, und kein gleich grosses für sie zu finden war, so wurden die Classen getheilt, für die erste ein Gebäude auf der Esplanade erkaufte, die beiden andern aber von dem Frauensthor im sogenannten Jägerhaus eingerichtet. Auch diese Veränderung wie die vorhergehenden verdiente wohl eine besondere Schilderung, indem sie nicht ohne gute Folgen für die Anstalt selbst bleiben sollte“.

Записи под датой 19 июля имеют в виду неотложную корреспонденцию. На следующий день Гете собирался уехать. Только поломка экипажа заставила его вернуться и отложить отъезд еще на четыре дня. Накануне предполагаемого отъезда он написал много писем, из которых не все перечислены в настоящем списке. С другой стороны, не все названные здесь письма дошли до нас.

Вот записи, расшифровываемые корреспонденцией Гете:

Medaillen Serenissimo — в письме Карлу Августу того же дня Гете писал: „Die Medaillen von Paris sind auch zu uns gelangt“.

Zelter — есть письмо к нему от 19 июля.

Kämpfer — знакомый Гете. В дневнике под 20 июля читаем: „Nach Tische Kämpfer und Rath Vulpius“. Возможно, что это был доктор. Что касается до минеральной воды, то в дневнике Гете отмечается 22 и 23 июля: „Eger Wasser getrunken“ (Egerbrunn в Франценсбаде).

Sartorius, Schultze и Seebeck — сохранились письма Гете к ним от 19 июля 1816 года. Lieber (преподаватель рисования в Веймаре), см. далее цитату из дневника.

Voigt Schwänchen — очевидно связано с постройкой эспланады.

Уже упоминавшийся Кирхнер — кастилян и производитель работ — и здесь назван, очевидно, в связи с той же постройкой эспланады.

В записях на 8 и 19 фигурирует Россия. Возможно, что эти записи связаны с получением слюды из Петербурга, о чем Гете пишет Зебеку 19 июля: „Bey meinen Versuchen hat mir ein trefflicher russischer Glimmer von der feinsten und klarsten Sorte sehr gute Dienste geleistet, er kam wie gerufen von Petersburg“. Впрочем, с Россией в это время у Гете были и другие сношения.

День 19 июля так описан в дневнике: „Noch einiges wegen der Pariser Medaillen. Briefe und mehrere Expediendi. Brief an Zelter in Wisbaden. An Sartorius daselbst. An Staatsrath Schulz nach Berlin. An Seebeck in Nürnberg. An Bergrath Lenz nach Jena. An die Grossherzogin R. H. nach Wilhelmsthal (An den Grossherzog Promemoria einlegend). An Frau von Brentano in Frankfurt. Lieber wegen des Frankfurter Bildchens. Das Einpacken fortgesetzt und vollendet. Communication mit Herrn Staatsminister von Voigt. Mittag Herr von Laffert und Hofr. Meyer. Mein Sohn mit Herrn von Laffert spazieren gefahren. Fortgesetzte Beseitigung aller Obliegenheiten“.

Как видно из зачеркиваний, Гете отмечал на своих Agenda выполнение сделанного. Из этого видно, что в записях 8 июля не выполнены две первые — Serenissimo и Russland (записи левого столбца вообще не вычеркивались). С другой стороны, выполнение совершалось не в один день: некоторым записям соответствуют письма 10-го, 12-го и 16-го июля. Отсюда можно заключить, что Agenda составлялись не на каждый день, и следующей за 8 июля была именно запись 19 июля, которая, таким образом, не случайно оказалась на одном листе с предыдущей. Таким образом, незачеркнутые две первые записи оставались невыполненными до 19 июля. И действительно, в этот день Гете написал письмо вел. герцогу; в Agenda на этот день значится и Raquet nach Petersburg, что очевидно соответствует невыполненному Russland 8-го июля.

Вообще же эти записи носят не обычный, повседневный характер. Они объясняются приготовлениями Гете к отъезду и необходимостью до отъезда ликвидировать связывающие его с Веймаром дела.

В Веймарском издании (Goethes Werke, III Abth., 5. Band. Tagebücher 1813—1816, S. 314—316) напечатаны Agenda за 10 и 28 июня 1816 года, вероятно непосредственно предшествующие ныне публикуемым. Некоторые записи этих Agenda имеют связь с настоящими, напр. Fossile Knochen. Pietra fungaja. Gubiz (10 Jun). Fossile Knochen. Unter Kinnlade. Kupferplatte (28 Jun.).

Agenda хранятся в ИРЛИ в составе собрания А. Ф. Онегина под шифром 28665/ССV6 26.

IV

ПИСЬМО ГЕТЕ К КАРЛУ ГЕБЕЛЮ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 1825

(Писано чужой рукой)

Weimar den 1-te Oktober 1825

Auf Ew. Wohlgeb. anher gerichtetes Schreiben des Inhalts, dass, im Fall Sie als Savant für dortige Studirende hinsichtlich der Erlangung von Büchern aus der academischen Bibliothek eintreten wollten, dieselben Bücher verabfolgt werden könnten, ist von Seiten Grossherzog Oberaufsicht der Herr Bibliothekar Dr. Güldenapfel hinzu, jedoch ausnahmsweise, veranlasst worden, welches zu melden nicht verfehle und mich zugleich in geneigtes Andenken zurückrufe

Ew. Wohlgeb.

(рукой Гете)

ergebener Diener J. W. von Goethe

Сложено конвертом. На обороте второго листа оттиск красной сургучной гербовой печати и адрес:

Sr Wohlgeb.

Herren Professor Dr. Göbel

zu

Jena

(рукой Гете:)

Gerichtet.

v. Goethe.

Адресат этого письма Carl Christian Traugott Friedemann Goebel (род. 21 февраля 1794 г. близ Веймара, ум. в Дерпте 26 мая 1851 г.), получив образование в Иенском университете, с 1824 г. сам был профессором фармации в том же университете. В 1828 г. он был приглашен для замещения кафедры

химии в Дерптский университет. К 1825 г. он был уже автором трех книг (первая, по фармацевтической химии, в 1821 г.).

Вероятно, именно этот Гебель отмечен в публикуемых Agenda. Об нем Гете писал к Voigt'у, веймарскому государственному министру, 13 июля 1816 г.: „Beyhülfe. Hier würde nun das dem jungen Göbel Gegönnte verschrieben werden“ (см. выше: обращение по этому поводу к профессору химии Дёберейнеру с распоряжением о выдаче пособия в 50 гульден. für den Studiosus Coebel показывает, что это был студент химик).

Письмо Гете в составе архива Гебеля поступило в Геологический комитет, откуда весь архив был передан в Академию Наук (см. постановление Физико-математического отделения 20 апреля 1927 г.). Постановлением Президиума Академии 27 мая 1927 г. это письмо, как имеющее литературный интерес, было передано в Пушкинский Дом (передача состоялась 8 января 1928 года). Письмо значится по книге поступлений за № 942. Оно написано на почтовой бумаге с водяными знаками F & Z, формата 197 × 247. Запечатано красной сургучной печатью с изображением государственного герба Саксен-Веймарского великого герцогства.

Письмо Гете было им продиктовано. В дневнике им отмечено под 30 сентября 1825 г.: „Mehrere Briefe dictirt“. Таким образом, его руке принадлежит только подпись и помета на адресе.

V

НАДПИСЬ НА КНИГЕ „HERMANN UND DOROTHEA“

An Frau
Diaconus Egorow,
mit aufrichtigen
Seegenswünschen
zum 18-ten Januar
von
Goethe.

—
Weimar
1814.

Надпись эта сделана на экземпляре издания: Hermann und Dorothea von Goethe. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1814.

Дарение этой книги относится к тому времени, когда в Веймаре было много русских. После Лейпцигского сражения и общего отступления французов, когда французский посланник в Веймаре был взят в плен (19 октября 1813 г.) и в город вступили казаки, началось расквартирование союзных войск. Веймар стал проходным городом, через который продвигались войска и проезжали направлявшиеся вслед за армией во Францию. 24 октября Гете виделся с Александром I, 11 ноября с Екатериной Павловной, вдовой герцога Ольден-

бургского. Встречи с Екатериной Павловной занимают много места в дневниках и письмах Гете. 3 января Гете был у Репнина-Волконского, генерал-губернатора Саксонии. 31 января он видел жену Александра I; 3 марта он встречался в. к. Константином и Николаем. Все эти лица проезжали с своими свитам через Веймар, где находилась дочь Павла I Мария Павловна, жена веймарского наследника; приезжие считали необходимым посещать Гете. В списке новогодних посетителей 1 января 1814 г. встречаются имена священника Ясновского и дьякона Егорова. Вероятно их же имеет в виду запись в дневнике 22 марта: „Mittag Diaconus und Frau Alexander des Probsts und der kleine Baskir“ (через Веймар в составе русских войск проходили башкиры).

Трудно сказать, по какому именно поводу подарена книга и что значило 18 января для Гете и жены дьякона Егорова. В этот день Гете был на концерте у Екатерины Павловны, где, вероятно, и произошла встреча.

Экземпляр „Германа и Доротеи“ в картонном переплете (имитация красного сафьяна с золотым орнаментом) с приведенной надписью хранится в библиотеке ИРЛИ под шифром 491/16.

VI

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ГЕТЕ

Воспроизводятся здесь в их настоящую величину. Одна из них—автограф: Geh. Rath von Goethe.

Хранятся в составе собрания А. Ф. Онегина. Шифр ИРЛИ 28665/ССV626.

VII

ПОДПИСЬ ПОД ПЕЧАТНЫМ ТЕКСТОМ СТИХОТВОРЕНИЯ „DIE FEIER DES SIEBENTEN NOVEMBERS 1825“

Ср. Веймарское изд., 4. Band, 1891, S. 42 (28. Augusts).

Хранится вместе с предыдущим под тем же шифром.

ПИСЬМО В. А. ЖУКОВСКОГО К ГЕТЕ 9 МАРТА 1822 г.

Monsieur!

C'était pour moi une joie bien grande et bien inattendue de recevoir la chère lettre de votre Excellence et le cadeau précieux

qui l'accompagnait. Mon retour, très retardé, à Pétersbourg a été cause, que je l'ai reçue très tard et que je n'ai pas encore fait ma réponse. Mais comment vous remercier pour cette marque précieuse de bienveillance et de souvenir! Je vous dirai simplement que la lecture de votre lettre m'a fait venir les larmes aux yeux. Ce que vous y dites avec tant de bonté sur notre entrevue, je l'ai senti en votre présence et après vous avoir quitté. Cette entrevue si ardemment désirée et attendue ne fut que d'un moment, mais ce moment fut riche en sensations vives; je n'ai pu rien vous dire précisément parceque j'avais trop à dire;¹ mais je vous ai vu et votre présence a été pour moi comme une récapitulation rapide des plus beaux tems de mon passé. *Und manche liebe Schatten steigen auf!* C'était cela!... Recevez donc, cher grand homme, ma reconnaissance et pour ce passé qui a été si souvent embelli par l'influence de votre génie et pour ce court instant où j'ai senti le bienfait de votre présence et que vous avez terminé par un serrement de main si bienveillant, si paternel, et pour cette lettre si touchante, ce *wiederhalter Willkommen und Lebewohl*, qui sera conservée religieusement, comme un don sacré d'une main chérie. Je me suis empressé de la montrer à Madame la Grande Duchesse Alexandrine: ce que vous y dites avec tant de vérité et de charme sur son compte, l'a vivement touchée et elle m'a chargé de vous exprimer ses sentiments. Cette âme, pure, simple² et profondément sensible est faite pour être appréciée par la votre: Elle s'est trouvée bien à son aise avec vous, comme Elle le dit elle-même et sa vue a dû vous laisser un souvenir attendrissant et serein, comme l'apparition d'un être ami qui réunit en soi tout ce qui est grand et dans lequel ce grand n'est autre chose que le naturel naïf et l'innocente simplicité d'un enfant. Tel est le caractère de cette chère Princesse. Ce que je vous dis sur son compte ne peut pas être nouveau pour vous, qui savez apprécier l'homme au premier coup d'œil; mais le dire à Goethe est pour moi une jouissance, que je ne veux pas me refuser.

Je finis. Que la Providence vous comble de tous les dons du bonheur, comme elle vous a comblée de tous les dons du génie.

¹ Первоначально эта фраза читалась: Cette entrevue a été pour moi un événement ardemment désiré et attendu, elle ne fut qu'un moment, mais un moment riche en sensations vives; je n'ai pu rien vous dire précisément parcequ'il y avait trop à dire.

² Первоначально: Cette belle âme, pure, simple, grande.

Tenez la promesse, que vous m'avez donnée en me disant adieu: *restez encore bien, bien longtems parmi nous autres*, en nous faisant jouir de votre existence beinfaissante, en jouissant vous-même des bienflaits que vous avez répandu sur les meilleurs de vorte siècle. On garde facilement le souvenir de ceux, par qui on est aimé: cela me donne le droit d'espérer que je ne serai pas effacé totalement dans la votre.

Je suis de cœur et d'âme avec le plus vrai dévouement

de Votre Excellence

le très humble et très respectueux serviteur

Joukoffsky

St. Petersbourg

25 fevrier 1822
9 mars

Настоящее письмо Жуковского к Гете воспроизводится с хранящегося в составе Онегинского собрания автографа — проекта письма, чистового с ничтожными поправками. С него непосредственно Жуковский вероятно списывал оригинал письма, посланный Гете. Поводом к письму послужило посещение Гете Жуковским 29 октября 1821 года в Иене, во время путешествия Жуковского в свите наследника Николая Павловича и его жены Александры Федоровны.

В бумагах Онегина сохранилась копия, сделанная в Веймаре, со стихотворения Жуковского, написанного его рукой на русском и немецком языке. Вероятно эта рукопись была передана Гете во время этого свидания:

Zu Goethens Bild von Shukowskij

Свободу смелую приняв себе в закон
Всеярящей мыслию над миром он носился!
И в мире всё постигнул он,
И ничему не покорился!

Uebersetzung

Allumfassend schwebet, und fesselfrey, sein Gedanke
Ueber der Erde, alles begreift er und nichts unterjocht ihn.

Обстоятельства свидания и последующая переписка описаны в книге А. Н. Веселовского „В. А. Жуковский“ (изд. 1918 г., стр. 307 и сл.).¹ Там же приведена цитата из публикуемого письма по русски.

¹ Ср. С. А. Н. Burkhardt. Goethes Unterhaltungen mit den Kanzler Friedrich v. Müller. Stuttgart 1870, S. 119—120. Здесь приведен немецкий текст стихов Жуковского „Творец великих вдохновений“, переданный Жуковским Гете при втором свидании в сентябре 1827 г.

Гете написал Жуковскому при посылке какого-то подарка с ехавшими в Петербург путешественниками 16 ноября 1821 года. На любезное письмо Гете, в котором он вспоминает о встрече и пишет об Александре Федоровне, Жуковский и ответил настоящим письмом. В нем он цитирует стих Гете (из „Посвящения к Фаусту“, переведенного Жуковским в качестве посвящения к „Двенадцати спящим девам“; там этот стих передан: „И много милых теней восстает“), и его письмо (Гете писал Жуковскому: „nehmen Sie gegenwärtiges Blatt als wiederhaltes Willkommen und Lebewohl“).

Кроме собрания Института русской литературы, Академия Наук располагает еще одним автографом Гете, а именно следующим письмом его к Эйхштедту, хранящимся в собрании Института книги, документа и письма:

VIII

ПИСЬМО ГЕТЕ К ЭЙХШТЕДТУ

Ew. Wohlgeboren

danke zum allerbesten für übersendete Münchner Diplom. Ich werde nicht verfehlen meinen Dank dorthin sogleich gelangen zu lassen.

Nach einer so grossen literarischen Fasten, als wir in Böhmen ausgehalten haben, ist uns besonders Ihre Literaturzeitung willkommen, wodurch wir zuerst wieder geistiges Leben und Bewegung gewahr werden.

Haben Sie über Oehlenschlägers Aladdin noch nichts bestimmt, so würde ich gern dieses problematische Werk in Ihrer Zeitung anzeigen. Bin ich nur erst eingermassen wieder in ruhigem Gange, so theile ich wohl noch einige andre Wünsche mit.

Bey meinem nächsten Aufenthalt in Jena hoffe ich auf das Vergnügen mündlich mit Ew. W. zu sprechen.

Der ich mich bestens empfehle

Weimar

den 23 September

1808.

Goethe

Текст этого письма известен. Оно напечатано в Веймарском издании сочинений Гете, *Goethes Briefe*, 20. Band, S. 170, 5601, An Eichstädt.

Письмо написано рукой Римера, и Гете принадлежит только подпись. Оно написано на почтовой бумаге верже, с водяными знаками F H F, формата

197 X 232. Повидимому, оно было сшито вместе с другими документами; остались следы сшивки и первые две страницы (лист, заполненный текстом и его оборот) пронумерованы красными чернилами 45 и 46. Две другие страницы остались нумерованными.

Письмо хранится в Институте книги, документа и письма за шифром 3.413. Прежним владельцем (Лихачевым) оно повидимому было приобретено на аукционе, так как к нему приложена вырезка из каталога автографов, где это письмо значится за № 154 и оценено в 55 марок. Цитата из письма сопровождается примечанием: *Der Brief selbst ist von Riemers Hand geschrieben.*

1
Zu Goethes Denymal was zahlst
Du jetzt

Frage dieser, jener und der!
Hatt ich mir nicht ^{selbst} ein Deny,
mal gesch^{en}zt
Das Denymal wo gem ^{denk}st es her.

J. H. Gossler

N:1.

Wenn ich dein gedengte
 Fragt mich gleich der Sienoge:
 Herr! Warum so still?
 Das von deinen Lehren
 Immer weiter hören
 Sagt gerne will

Wenn ich mich verzeffe
 Unter der Cypresse
 Hält er nichts davon,
 Und im Stillen freize
 Bin ich doch so weise
 Gley wie Salomon

Ed. Hoffmann's Buchh. d. d. d. d.
 Göttingen's Buchh. d. d. d. d.
 Hoffmann's Buchh. d. d. d. d.

Göttingen.

Agenda

28. Jan. 1870

Untere Hirsch Hinlage Serenissimo

Poffil. 4 3. 5 Lin Russland.

Natur 2 8 Lin Meyer Blumen.

Höhe von der Ba. Petra fung. d. Kees.
bis auf die Zeit Boissiere von
fronchen.

Brief.

Lohndor

Gutheit

Eidstedt Reen.

Votum wegen der Glas
maaron O Perord.

wegen Joebels.

Brommen.

Kupfer Platte bis. stark

Architekt Steinen

Bau Esplanad

Reichen Schule Thure

Calle wegen Gerecht.

Diplome

Rhein u. Mayn.

Gelber Gesänge

Agenda

D. 10 July 1816

~~Mathilde~~

~~Pag an Zetter.~~

~~Pag nach Petersburg.~~

~~an Gulpis.~~

~~an Mayer.~~

~~inbailen Nachtrag.~~

~~Medaillen Serenissimo~~

~~Zetter.~~

~~Sartorius~~

~~Haemmer. mineral. Kaper.~~

~~Schulze Brief.~~

~~Rebeck~~

~~Luben~~

~~Vorgt Schreanher~~

~~Summen Hirschner~~

~~Vorgt an Domil~~

Dr. W. P. P. P.

Gem. P. P. P. Dr. P. P. P.
zu

P. P. P.
P. P. P.

P. P. P.

An Frau
Diaconus Egorow,
mit aufrichtigen
Segenswünschen
zum 18ten Januar,
von
Goethe.

Weimar
1814.

Großherzoglich Sachsen-Weimarscher
wirklicher Geheimrath und
Staatsminister
von Goethe.

J. B. B. B.
von Goethe

Geheimer Rath
von
Goethe

DIE FEIER

DES SIEBENTEN NOVEMBERS 1825

DANKBAR ZU ERWIEDERN.

Sah gemalt, in Gold und Rahmen,
Grauen Barts, den Ritter reiten,
Und zu Pferd an seinen Seiten
An die vierundzwanzig kamen;
Sie zum Thron des Kaisers ritten,
Wohlempfangen, wohlgelitten;
Derb und kräftig, hold und schicklich,
Und man pries den Vater glücklich.

Sieht der Dichter, nah und ferne
Sohn' und Tochter, lichte Sterne,
Sieht sie alle wohlgerathen,
Tüchtig, von geprüften Thaten;
Freygesinnt, sich selbst beschränkend,
Immerfort das Nächste denkend,
Thätig treu in jedem Kreise,
Still beharrlich jeder Weise;
Nicht vom Weg dem graden weichend,
Und zuletzt das Ziel erreichend.

Bring' er Töchter nun und Söhne
Sittenreich, in holder Schöne,
Vor den Vater alles Guten,
In die reinen Himmelsgluten,
Mitgenossen ew'ger Freuden!
Das erwarten wir bescheiden.

Minna *Gosse*

für Völkervereinigung

Dank zum allerbesten für das überaus schnelle Mithras-
Diplom. Es wurde nicht nur schnell mir, sondern auch sehr rasch
gelangen und besten.

Man kann sich großen literarischen Satzen, wie wir im
Bücher aufgestellten Satzen, ist und beabsichtigt, für literarische
Satz willkommen, wobei wir zuerst wie in geistig. Leben
und Bewegung greifen werden.

Haben Sie über Aufklärungsgel Aladdin nur einst bei
Himml, obwohl es von der problematische Welt in ihrer
Gestaltung ausgeht. Denn es wird erst im Grunde wie in der
zum Ganzen. Es steht es nicht nur einige andere Schritte mit.

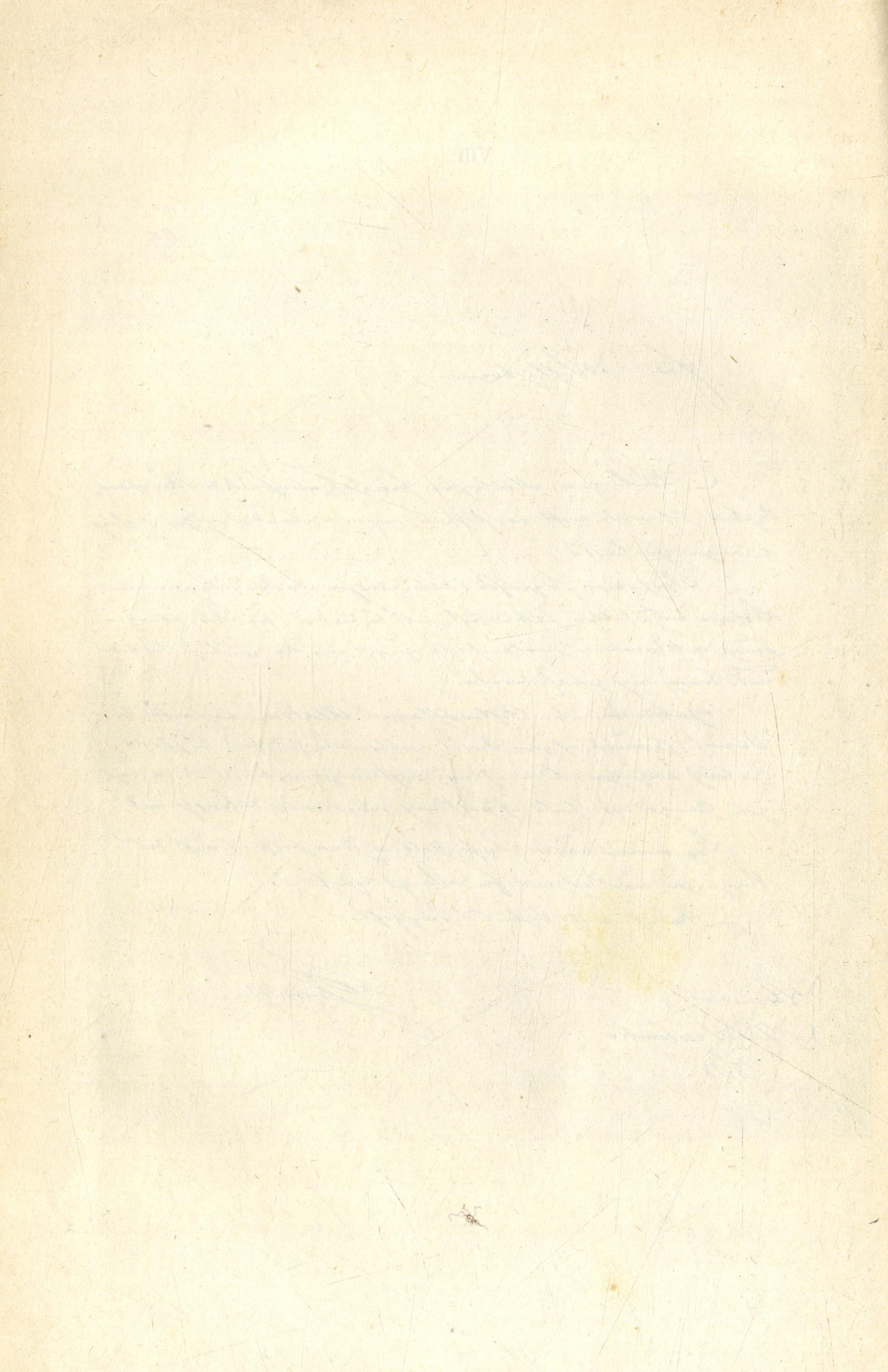
Es müssen unsere Aufstellung in das Feld es auf der
Kreuzwege mündlich mit für die gut sprechen.

Es ist mir bester vorgefallen

Winnert
in 20 September
1808.

Stettin

Post.



Л. Б. МОДЗАЛЕВСКИЙ

Гете — почетный член Петербургской Академии наук

Историческая справка¹

В почетные члены Академии Наук Гете был избран в 1826 году. Инициатива предложения об избрании Гете принадлежала президенту Академии С. С. Уварову, который, намечая к баллотировке ряд лиц, включил в свой список также и имя Гете. Предварительное избрание кандидатов состоялось в заседании Академии 20 декабря 1826 г., когда предложенный список их был встречен академиками, как гласит протокол этого заседания, „единогласным мнением“. Имена вновь избранных членов Академии Наук были объявлены 29 декабря, в день торжественного празднования в стенах Академии 100-летнего юбилея ее существования; этот день и является датой избрания Гете в почетные члены.² По случаю столетия существования Академии вскоре после торжества были выбиты специальные золотые медали в память юбилейного дня, сделанные по рисунку известного медальера и президента Академии Художеств гр. Ф. П. Тол-

¹ В основу ее положены материалы, хранящиеся в Архиве Академии Наук СССР.

² См. „Собрание актов торжественного заседания имп. Санктпетербургской Академии Наук, бывшего по случаю празднования столетнего ее существования 29 декабря 1826 года“, СПб. 1827, стр. 6; „Recueil des actes de la séance solennelle de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg tenue à l'occasion de sa fête séculaire le 29 Decembre 1826“, 1827, р. 5; Б. Л. Модзалевский. Список членов имп. Академии Наук 1725—1907, СПб. 1908, стр. 147.

стого.¹ После изготовления их, С. С. Уваров, одновременно с отправкой Гете диплома на звание почетного члена, препроводил ему также один экземпляр этой медали. На это внимание Академии Наук и ее президента, с которым Гете находился в дружеской переписке с 1811 г., Гете ответил благодарственным письмом на имя Уварова, написанным в следующих выражениях:²

Ew. Excellenz

fortdauerndes Wohlwollen zähle ich mit unter die ersten Glücksgüter späterer Jahre und ich halte mich dessen für alle Zeiten aufs gewisseste versichert; doct wil lich gern gestehen, dass der neuste Beweis Ihrer vorzüglichen Geneigtheit mich überrascht und gerührt hat. — Meiner, an einem solchen Tage, in solcher Gegenwart, unter solchen Umständen gedacht zu wissen würde mich beschämen, wenn ich nicht den von mir so lange Zeit ausgeübten guten Willen ins Auge fassen dürfte, wobey mir die Betrachtung zu Hülfe kommt, dass vielleicht noch mehr als die Zwecke, die wir uns vorsetzen und kaum erreichen, schon die Mittel, die wir anwenden, solchen Mitarbeitern und Nachfolgern zu Gute kommen, welche sie wohl kräftiger und wirksamer zu benutzen wissen. — Höchst erfreulich aber war es ein so schönes Zeichen der edelsten Kunst bey mir anlangen zu sehen im Augenblick, wo unsere Betrachtungen eines hohen Familienglücks von Weimar aus unablässig nach Berlin und Petersburg gerufen werden.

Erlauben Sie mir hiebey eine Bemerkung zu der wichtigen Aufgabe, welche die Akademie den Physikern vorgelegt hat. Gerade dieser Abtheilung der Naturlehre habe ich viele Jahre her eine grosse Aufmerksamkeit unablässig gewidmet und fahre fort mich damit zu beschäftigen. Wenn ich also noch Ursachen habe ein längeres Leben zu wünschen, so gehört dies gewiss mit dazu: durch die Lösung jenes Räthsels, durch die Entscheidung einer einsichtigen Akademie über manches aufgeklärt zu werden,

¹ В архиве Академии Наук хранятся подлинные эскизы рисунков медалей, сделанные Толстым акварелью.

² К сожалению, установить точную дату отправки Гете медали и диплома не удалось. Письмо же Гете должно быть отнесено к началу 1827 г. (апрель-май).

welches mir, sowie andern Höhergestellten bis jetzt ein Problem geblieben ist.

Erhalten Sie mein Andenken in Ihrem würdigen Kreise und bleiben meiner unauflöslichen Anhänglichkeit gewiss.

Verehrend wie vertrauend

Ew. Excellenz

ganz gehorsamster Diener

J. v. Goethe.¹

Конец письма Гете касается задачи по физике, предложенной Академией Наук 29 декабря 1826 г. Текст ее был издан тогда же на русском, немецком и французском языках вместе с другими задачами в виде отдельных печатных листков in 4° по 4 страницы каждый, причем листок с немецким текстом под заглавием „Preisfragen der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, am Tage ihrer Säcularfeyer den 29. December 1826 öffentlich bekannt gemacht“ (см. прилагаемое воспроизведение), вероятно был послан Гете, который на основании этой печатной листовки и имел представление о задаче.²

Сущность ее состояла в том, чтобы „1) или найти и хорошо доказать физическую причину четырех явлений (диффракцию света, цветные кольца, поляризацию и двойное лучепреломление) по системе истечения и приступов, 2) или освободить оптическую систему волн от всех делаемых против нее, и кажется

¹ Переписка Гете с Уваровым опубликована проф. Г. К. Шмидом под заглавием „Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel“ в „Russische Revue“, 1888, Band XXVIII, Heft 2, SS. 131—182; приведенное нами письмо напечатано здесь на стр. 170—171.

² Вскоре по отпечатании листка Академия Наук выпустила „Supplément à la question de physique proposée par l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg dans sa séance publique du 29 décembre 1826“, 8 стр. in 4°. Тексты задач по физике и других задач перепечатаны на русском языке в издании „Собрание актов торжественного заседания имп. Санктпетербургской Акад. Наук, бывшего по случаю празднования столетнего ее существования 29 декабря 1826 г.“, СПб. 1827, стр. 47—55, и на франц. языке в издании „Recueil des actes de la séance solennelle de l'Académie imp. des sciences de St. Pétersbourg, tenue à l'occasion de sa fête séculaire le 29 décembre 1826“, St.-Pb. 1827, p. 45—52. Cp. Russische Revue, Vierteljahrsschrift für die Kunde Russlands, Band XXVIII, St.-Pb. 1888, стр. 181, прим. 26.

не без основания, возражений и приложить оную к изъяснению поляризации света и двойного лучепреломления, 3) или развить химическую систему оптики нужными вычислениями и опытами, дабы возвысить ее на степень теории, которая обнимала бы все явления, относящиеся к уклонению (дифракции), цветным кольцам, поляризации света и двойному лучеиспусканию". Срок представления решений задачи был назначен 1 января 1829 г. К указанному сроку было представлено анонимно несколько сочинений, под девизами, но ни одно из них не получило назначенной премии (200 червонцев), так как особая комиссия, образованная для их рассмотрения, в составе акад. Э. Д. Коллинса, Е. И. Паррота и А. Я. Купфера, не нашла эти сочинения достойными быть увенчанными премией.¹ Интерес Гете к этой задаче Академии Наук стоял в прямой связи с его многолетней работой „*Farbenlehre*".

Вышеприведенное письмо Гете Уваров довел до сведения Академии Наук, в протоколе которой 20 июня 1827 г. (§ 267) записано „Его превосходительство господин президент сообщил, что им получено от Гете благодарственное письмо, с извещением о получении диплома на звание почетного члена". Письмо Уваров оставил у себя и оно хранится в его личном архиве.² В документах и протоколах Академии Наук не имеется более никаких следов сношений Гете с Академией; с Уваровым же Гете поддерживал переписку до 1830 г., но она не имеет непосредственного отношения к Академии Наук. Последовавшая вскоре смерть Гете была отмечена Академией в одном из ее заседаний (28 марта 1832 г.), когда неприменный секретарь Академии акад. П. Н. Фус объявил собранию о кончине ее почетного члена „знаменитого германского поэта Гете, в Веймаре 10/22 марта, в возрасте 82 лет".³ В память годовщины со дня смерти Гете С. С. Уваров произнес на торжественном заседании Академии Наук 22 марта 1833 г. речь, в которой сообщил о литературных и научных трудах Гете на основании своей с ним продолжительной переписки. Непременный секретарь, делая

¹ См. об этом „*Recueil des actes de la séance publique de l'Académie... etc.* le 29 décembre 1829," St.-Pb. 1830, p. 221.

² В Историческом музее в Москве.

³ Известие это почти в тех же выражениях напечатано было и в Годовом отчете Академии (см. „*Recueil des actes de la séance publique de l'Académie... etc.* le 29 décembre 1832", St.-Pb. 1833, p. 5 (*Compte rendu*)).

Preisfragen

der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften
zu St. Petersburg,

am Tage ihrer Säcularfeyer

den 29. December 1826

öffentlich bekannt gemacht.

I.

Preisfrage der mathematisch-physicalischen Classe.

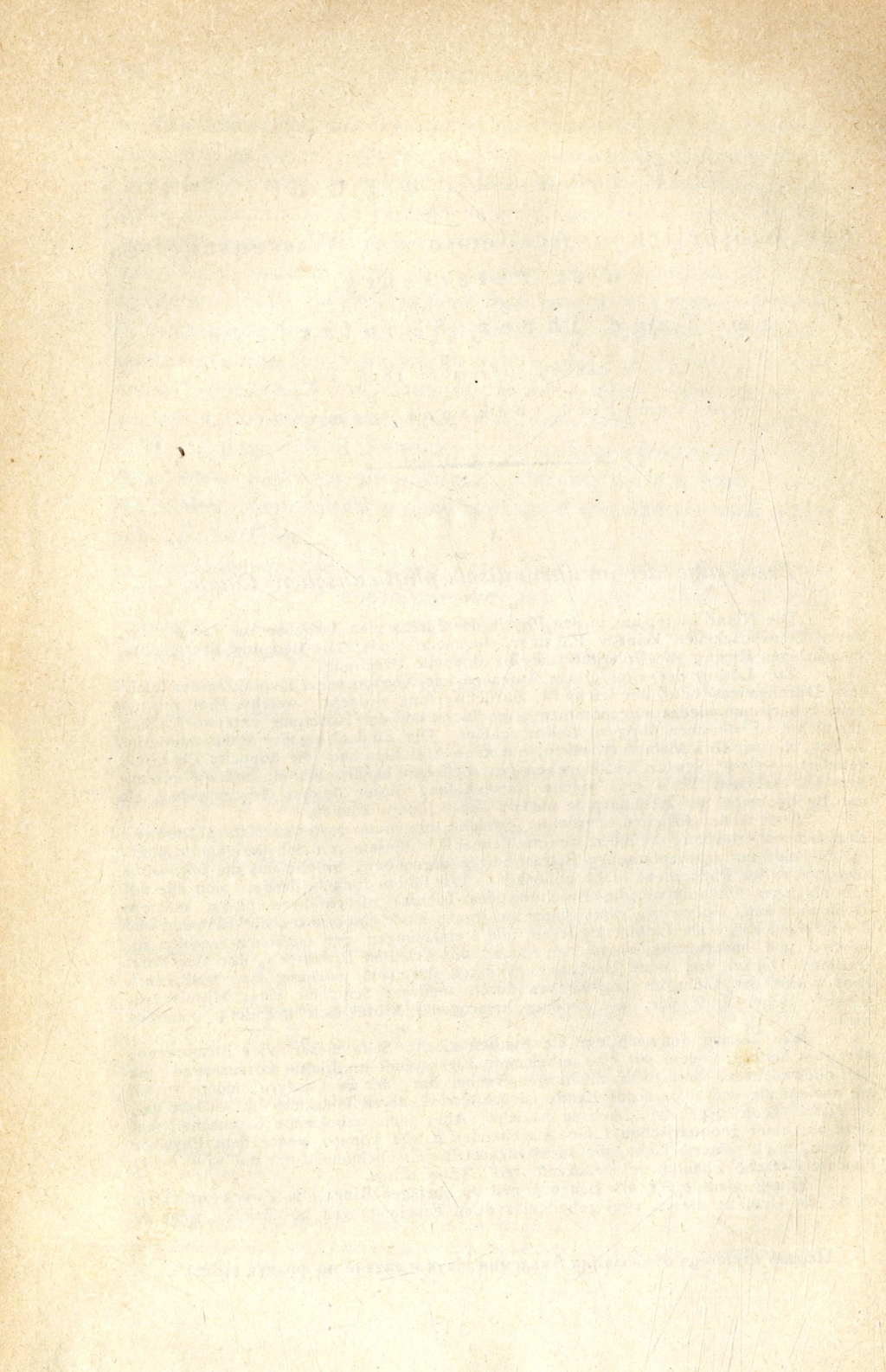
Die Natur bietet uns in der Physik des Lichts vier Aufgaben zur Lösung dar, deren Schwierigkeiten keinem Physiker entgangen sind: Die Beugung des Lichts, die farbigen Ringe, die Polarität und die doppelte Brechung.

Zur Lösung der zwei ersten Aufgaben hat Newton seine Hypothese des leichten Durchganges oder der leichtern Zurückwerfung erdacht, welche Biot mit einem Scharfsinne wieder aufgenommen, modificirt und der Rechnung unterworfen hat, der nichts zu wünschen übrig zu lassen scheint. Die Entdeckung der Polarisation des Lichts, die wir Hrn. Malus verdanken, hat neue Ansichten über die doppelte Brechung geliefert, welche Newton und Huyghens vorzüglich behandelt hatten, und wir verdanken den Arbeiten Biot's eine solche Entwicklung dieser beiden Gegenstände, als nur Beobachtung und Rechnung in unsern Tagen liefern können.

Aller dieser Arbeiten ungeachtet, welche uns in die zartesten Naturphänomene einzudringen erlauben, befinden wir uns dennoch in diesem mit Schwierigkeiten übersäeten Felde nur mathematischen Betrachtungen gegenüber, welche uns die *physische Ursache* dieser Phänomene nicht aufdecken. Wir fühlen dunkel, dass sie sich alle auf ein einfaches Phänomen (die Brechung des Lichts) zurückführen lassen müssen. Denn man kann einerseits, ohne Annahme irgend einer Hypothese, die Beugung und die farbigen Ringe als Lichtzerlegungen und Versetzungen der einfachen Strahlen ansehen, und andererseits wissen wir durch die Arbeiten Brewster's, dass der Polarisation-Winkel von dem Brechungs-Winkel durchaus abhängig ist, und durch Biot, dass das Licht im Durchgehen durch mehrere Scheiben eines Mittels zwischen welchen Luft oder ein anderes heterogenes Mittel sich befindet, polarisirt wird.

Wir kennen demnach nur die mathematische Seite dieser vier Phänomene; der zwei erstern, indem wir eine unbekannte Eigenschaft im Lichte voraussetzen, die sich noch nicht aus directen Erscheinungen ergeben hat, der zwei andern, indem wir sie auf anziehende und abstossende Kräfte zurückführen, deren Wirkung die Analyse auf der Lage nach gegebene, Achsen bezieht. Aber jene unbekannte Eigenschaft und diese aus einer geometrischen Linie ausgehenden Kräfte können weder dem Physiker genügen, noch seiner Pflicht, die zusammengesetzten Erscheinungen nur auf wohl beurkundete einfache Phänomene zurückzuführen, entsprechen.

Young glaubte für die Beugung und die farbigen Ringe den Zweck zu erreichen, die Ursache dieser zwei geheimnissvollen Erscheinungen zu finden, wenn er



отчет о деятельности Академии Наук за 1833 г., сказал о речи Уварова, что она является вполне достойной того великого человека, памяти которого посвящена, удивляет оригинальностью мысли и прелестью стиля и имеет достаточно прав, чтобы обратить на себя внимание всего мира.¹ Речь Уварова была издана Академией Наук под заглавием: „Notice sur Goethe, lue à la séance générale de l'Académie imp. des sciences de St.-Pétersbourg, le 22 mars 1833, par M. le Président de l'Académie“, St.-Pb., 1833, 22 стр.,² и переведена тогда же на немецкий (3 издания) и на русский языки. Русское издание было напечатано в переводе и с предисловием профессора Московского университета И. И. Давыдова под заглавием „О Гете. В торжественном собрании императорской Академии Наук читано Президентом Академии 22 марта 1833 г.“, М. 1833, 29 стр.

¹ См. „Recueil des actes de la séance publique de l'Académie... etc. le 29 décembre 1833“, St.-Pb. 1834, p. 22—23.

² Перепечатана в издании Акад. Наук „Etudes de philologie et de critique par M. Ouharoff“, St.-Pb. 1843, p. 337—353.

П. Н. БЕРКОВ

К истории первоначального знакомства русского читателя с Гете

Библиографические материалы

В самом начале 1780 г. в официальных „Санктпетербургских Ведомостях“, издававшихся тогда Академией Наук, в „Прибавлениях“ к № 9 от 31 января, появилось следующее объявление:

„В луговой Миллионной улице у книгопродавца К. В. Миллера продается новонапечатанная трагедия: Клавиго, в 5 действиях, переведена с немецкого г. Готе, по 60 к.“¹

Повидимому, „трагедия г. Готе“ пришлось по вкусу тогдашним читателям, так как вскоре появилось второе издание ее, о котором оповещало аналогичное объявление в „Прибавлениях“ к № 57 СПб. Ведомостей от 17 июля того же года:

„В луговой Миллионной у кн. Миллера продаются: Клавиго, трагедия Гете, переведенная с немецкого языка, второе исправленное издание“.²

¹ Стр. 98; это объявление повторено в „Прибавлении“ к № 10 от 4 февраля 1780 г. на стр. 111; ср. также в „Прибавлениях“ к №№ 22, 23, 24 от 17, 20 и 24 марта 1780 г. Титульный лист этого издания таков: Клавиго, трагедия в пяти действиях господина Гете, переведена с немецкого. В Санктпетербурге при Артиллерийском и Инженерном Шляхетском Кадетском корпусе у Содержателя Х. Ф. Клеэна, 1780 года „86 + 2 нен. стр.

² Стр. 746; объявление повторено в „Прибавлениях“ к № 58, стр. 758; к № 84, стр. 1009; к № 85, стр. 1017. Титульный лист второго издания таков: Клавиго, трагедия господина Гёте. Переведена с немецкого. Второе исправленное издание. В Санктпетербурге печатано в вольной Типографий [!] Вейтбрехта и Шнора — 1780 года, 104 стр. На титульном листе очаровательная гравюра на меди работы J. D. Schlepper'a. Исправления второго издания касались самой незначительной стилистической правки, главным образом, в замене одних слов другими.

И в первом и во втором издании книга вышла без указания фамилии переводчика. Лишь в предисловии ко второму изданию переводчик отчасти выявил себя, подписавшись буквой К. (Предисловие к первому изданию напечатано было без подписи.) В настоящее время личность переводчика точно установлена благодаря прямому на то указанию члена упраздненной впоследствии Российской Академии В. А. Поленова, доставившего материалы для биографии видного государственного и литературного деятеля конца XVIII и начала XIX в. Осипа Петровича Козодавлева (1754—1819).¹ Получивший университетское образование в Лейпциге, вместе с А. Н. Радищевым, с которым и в дальнейшем поддерживал дружеские отношения, О. П. Козодавлев был, для своего времени, серьезно образован и, по отзыву биографа, „немецкий язык знал не хуже природного русского“.² Им был сделан ряд переводов с немецкого в самом начале 1780-х гг., и гетевский „Клavigо“ оказался одним из первых переводов Козодавлева. Проходя курс обучения в Лейпциге в эпоху первых революционных, пока лишь в среде литературной, выступлений буржуазии, в период *Sturm und Drang*'а, Козодавлев усвоил некоторые положения „штюрмеров“. Эти симпатии его проявились в предисловиях к „Клavigо“, в особенности во втором, приводимом ниже: „Сочинитель сея, переведенный мною, трагедии приобрел не только в Германии, но и во всем ученом свете великую славу своими сочинениями: Страдания молодого Вертера, сие прекрасное произведение его пера, сравняло его с лучшими Немецкими писателями, так как и прочие его творения, заслужили весьма великую от всех знающих людей похвалу. Г. Гете во всех сочинениях своих подражал единой натуре и не следовал правилам, удаляющим оную от глаз писателей, и полагающим весьма тесные духу их пределы.

О таковых драмах, каковая есть сия трагедия, писанных не принужденным и естественным слогом, многие из славнейших писателей предложили свету свои мысли в некоторых сочинениях своих, и я за излишнее почитаю здесь оные повторять. Приключение господина де-Бомарше, служившее основанием

¹ Приведены в „Истории российской академии“ М. И. Сухомлинова, СПб. 1882, т. VI, стр. 368; ср. там же стр. 287—294.

² Там же, стр. 369.

следующей трагедии, случилось в Испании в 1764 году; расположение и слог ее соответствуют тогдашнему состоянию действующих лиц и месту действия. Я перевел сию драму в угодность некоторым приятелям моим и почту за труд мой себя награжденным, если оный и любители драматических сочинений благосклонно примут".¹ К словам „многие из славнейших писателей предложили свои мысли в некоторых сочинениях своих“ Козодавлевым сделано примечание, заключающее перечень этих писателей с указанием их сочинений: *Poetique Françoise par M. Marmontel; Discours sur la poesie dramatique par Diderot; Les Bijoux indiscrets par Diderot part II Ch. V. Ertretien sur les lettres* (Col. com. des oeuv. de Diderot, Londres 1773. 8. Tome IV, pag. 159—165; *Du Theatre ou nouvel Essai sur l'Art dramatique; Hamburgische Dramaturgie von Lessing; Göthens [!] Schriften, 4-ter Theil. Fragmente.*

Даже самый беглый просмотр этого списка позволяет заключить, что в эпоху господства дворянского классицизма, при непререкаемости авторитета Буало, Батте и др., Козодавлев явно опирался на буржуазных теоретиков искусства, Дидро, Лессинга и прочих. Наличие этого списка показывает, что перевод „Клавиги“ был для Козодавлева не случайностью, а совпадал с его теоретико-литературной позицией, очевидно характерной для некоторой части среднего дворянства, постепенно обуржуазивавшегося уже с середины XVIII века.

В этих кругах интерес к гетевской трагедии был поддержан еще и тем, что вскоре она была поставлена на сцене Петербургского немецкого театра, может быть, в связи с появлением русского перевода. Те же „Прибавления“ к „СПб. Ведомостям“ (№ 81 от 9 октября 1780 г.) сообщают об этом:

¹ Предисловие к первому изданию имеет иную редакцию: Содержание сей трагедии основано на происшествии, случившемся с господином Бомарше в 1764 году в Испании, которое он сам и описал: описание сие ныне и на Российский язык переведено и напечатано в ежемесячном, великия похвалы достойном издании, называемом Санктпетербургский Вестник. Я за лишнее почитаю здесь предложить пространное известие о сочинителе сей трагедии и о достоинствах его; ибо они всем любителям словесных наук уже известны. Страдания молодого Вертера, прекрасное произведение его пера, приобрело ему великую славу и сравняло его с лучшими писателями Германии: так как и сия трагедия заслужила от всех знающих людей великую похвалу“.

„После завтра, т. е. 11 числа сего месяца, будет на Немецком театре представлена Российская опера... а в понедельник, 12 числа, Немецкая трагедия Клавиго“.

Наконец, в том же году, в „Санктпетербургском Вестнике“, достаточно серьезном журнале той поры, уделявшем значительное внимание библиографии новых книг, конечно — в той наивно-зачаточной форме, которая соответствовала степени идеологической сознательности тогдашнего средне-дворянского читателя, появилась коротенькая рецензия на трагедию Гете:

„Клавиго, трагедия Г. Гете, переведена с немецкого: второе исправленное издание. В Санктпетербурге, в типографии Вейтбрехта и Шнора 1780 года...“ и т. д.

В примечании повторено и несколько уточнено указание предисловия к „Клавиго“, что „Подлинное происшествие, на котором основана сия трагедия, можно читать во второй части Санктпетбургского Вестника“.¹ Действительно, во II ч. „СПб. Вестника“ помещена статья о путешествии Бомарше в Испанию, содержащая эпизод, послуживший материалом для „Клавиго“.

В рецензии, кроме трагедии Гете, рассматривается еще и пользовавшаяся большим театральным успехом пьеса Бертуха „Ельфрида“. Самая рецензия, невелика и составлена в общих выражениях:

„Подлинники обеих [!] сих театральных сочинений приобрели сочинителям своим похвалу; российский оных перевод сделан и напечатан с отличным тщанием: — для опыта оного сообщаем мы одну минологию [!] из книги первой трагедии.“² Далее приводится отрывок из пятого действия „Клавиго“.

Если первые рецензенты „Клавиго“ ограничиваются достаточно уклончивой характеристикой трагедии Гете, то значительно более определенную и обоснованную оценку ее дает анонимный „Драматический Словарь“ 1787 г., бездоказательно и вопреки фактам приписываемый Н. И. Новикову. Впрочем, рецензия эта не самостоятельна: автор ее просто-на-просто переложил своим словами предисловие Козодавлева ко второму изданию „Клавиго“. Повидимому, все же автор „Драматического Словаря“ не был ярым сторонником традиций аристокра-

¹ СПб. Вестник, 1780, ч. VI, стр. 58.

² Там же, стр. 59.

тического классицизма, слог которого ему представляется „принужденным“:

„Клавиго. Трагедия г. Гете, славного Немецкого автора, который написал отличную книгу, похваляемую повсюду, страдание молодого Вертера. Мысль в сей трагедии, так как и во всех сочинениях его, подражание единой натуре и не следуя правилам; следственно, сия трагедия писана не принужденным, а естественным слогом. Приключение г. Бомарше, служившее основанием следующей трагедии, случилось в Испании в 1764 году. Расположение и слог ее соответствуют тогдашнему состоянию действующих лиц и месту действия. Сия трагедия на Немецком языке повсюду часто представляема, также и в Санктпетербурге у Двора; переведена на Российской язык в прозе, представлена была на Московском Публичном театре два раза. Напечатана вторым исправленным изданием 1770 [!] года в Санктпетербурге в вольной типографии Вейтбрехта и Шнора“.¹

В предисловии Козодавлева и в рецензии анонимного „Драматического Словаря“ Гете фигурирует как „автор, который написал отличную книгу, похваляемую повсюду, страдание молодого Вертера“. Надо полагать, что за Гете в это время укрепилась у нас именно слава „автора Вертера“. С этим произведением Гете русские читатели, не знакомые с оригиналом или французскими переводами, встретились почти одновременно с „Клавиго“. И в данном случае „СПб. Ведомости“ снова позволяют восстановить некоторые детали.

Согласно установившемуся в XVIII в. среди переводчиков, опасавшихся нечаянной конкуренции, обычаю, в „Прибавлениях“ к № 75 „СПб. Ведомостей“ от 18 сентября 1780 г. появилось извещение:

„Трудящимся в переводе книг с иностранных языков на Российский сим объявляется, что книга *Leiden des jungen Werthers*, т. е. страдание молодого Вертера, уже переведена и отдана в печать“.²

Выход книги в свет несколько задержался, и лишь через пять месяцев, в „Прибавлениях“ к № 15 „СПб. Ведомостей“ от 19 февраля 1781 г., сообщалось, что:

¹ Драматический Словарь, М. 1787, стр. 68—69.

² Стр. 941.

„В Академической Книжной Лавке продаются новонапечатанные книги: Страсти молодого Вертера. 2 части, 65 к.“¹

И снова „Сактпетербургский Вестник“, в отделе „Известие о новых книгах“, откликнулся на появление „Вертера“ рецензией, принадлежавшей, повидимому, редактору журнала, Г. Л. Брайко, человеку, основательно знавшему немецкий язык и усердно переводившему произведения Виланда, Клейста, Геллерта и других немецких писателей.² Рецензия эта, как и следовало ожидать от критики той эпохи, обращает внимание исключительно на языковую проблему, представлявшую для дворянской литературы, стремившейся максимально эманципироваться от церковных влияний и создать *свой*, светский способ выражения, вопрос первостепенной важности.

Выписав заглавие книги, рецензент к первому же слову „Страсти“ делает характерное примечание:

„Г. Переводчик страсти употребил вместо страданий; правда, страсти в славенском языке значат тоже, что страдания, однакож в российском языке, в сем смысле, сколько кажется сие слово не употребляется.“³

Самая же рецензия, обнаруживающая осведомленность ее автора — фактическую или мнимую, дело другое — о состоянии литературы в Германии, целиком построена на вопросе о языке:

„Основание сего романа, есть историческое и притом обыкновенное, но воздвигнутое на оном высоких мыслей здание, пленяющее приятностью своею чувства, есть превосходнейшее в своем роде; в Германии приобрело оно зодчию своему г. Гете, великую честь и славу; — изображение оно на российском языке неверно, перепорчено, и... если бы пространство сих листов позволяло, охотно бы в оные помещены были, некоторые части подлинного здания, дабы читатели смотря на оные удобнее могли судить о исправности копии.“⁴

¹ Стр. 83. На титуле: „Страсти молодого Вертера“, часть I. Переведена с немецкого, в СПб. 1781 года. Изданием Е. В. 124 стр.; часть II, переведена с немецкого, стр. 125—249. Имя переводчика не указано, но по Сопикову известно что „Вертер“ был переведен Ф. Галченковым. О последнем известно, что он был переводчиком в Академии Наук. В. П. Семенников. Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II. Петроград, 1915, стр. 22, 23, 24.

² Целый ряд особенностей языка Брайко повторяется и в данной рецензии.

³ СПб. Вестн., 1781, ч. VII, стр. 138.

⁴ Там же.

Приведя в качестве образца перевода Ф. Галченкова „Опыт копии“, „письмо первое“, рецензент после цитаты продолжает:

„Всякого исправного переводчика должность стараться изобразить мысли сочинителя и сохранить красоту его выражений; первое и второе письма, переведенные вновь со всякою точностью, могут доказать сколь мало г. переводчик в сем и другом успел“.¹

Следующее, затем, сопоставление рецензентом данного перевода с переводом Галченкова действительно обнаруживает довольно неряшливый характер языка рецензируемой книги. Систематической сверки гетевского текста с переводом рецензент не произвел; но то, что ему особенно бросилось в глаза, он счел нужным отметить:

„Места из Оссиана, видно, в рассуждении их трудности, г. переводчик оставил непереверженными; лучше бы было, если бы он оставил и другие, некоторые — иронически продолжает рецензент — или — —“² не заканчивает он, очевидно, предоставляя читателю догадываться, что за двумя тире разумеет роман в целом. В заключение рецензент приводит свои переводы из Оссиана, из числа пропущенных Галченковым.

Несмотря, однако, на отрицательный характер рецензии, перевод Галченкова снова вышел в 1794 г., а затем, подновленный Ив. Виноградовым, был трижды переиздан в 1796, 1798 и 1817 гг.³ Роман настолько пришелся по вкусу тогдашнему русскому читателю, что в 1794 г. была переведена даже подделка под „Вертера“ — „Письма Шарлотты к Каролине, писанные во время знакомства с Вертером“,⁴ вышедшие во Франции в 1787 г.⁵

Начиная с издания „Страстей молодого Вертера“ в 1796 г., это произведение прилагалось к основному роману.

¹ СПб. Вестник, 1781 стр. 139—140.

² Там же, стр. 144.

³ J. W. Appel в книге „Werther und seine Zeit“ (4 изд.), Oldenburg, 1896, стр. 328, указывает, что наиболее ранний русский перевод „Вертера“ относится к 1788 г. и был сделан неким Кириаком (Kyriak). Источник этих сведений не назван. Может быть, имеется в виду какое-нибудь неосуществленное начинание Кириака Кондратовича.

⁴ Пер. с французского А. К. У Сопикова и других показан 1795 г., но объявление о нем было в „СПб. Ведомостях“ еще 24 февр. 1794 г. (Приб. к № 16).

⁵ Повидимому, русский перевод был сделан со следующей французской книги: „Lettres de Charlotte à Caroline, son amie, pendant sa liaison avec Werter“ [!].

Интерес к „Вертеру“ выразился еще и в появлении стихотворений, посвященных гетевскому роману. Стихотворения эти являются переводами и посвящены одной и той же теме — Шарлотта у гроба Вертера, и принадлежат они начинавшим дворянским поэтам, Димитрию Баранову и двум анонимным авторам, из которых один был воспитанником Московского Благородного Пансиона. Стихотворение этого последнего автора — стихи на гроб Вертера — трактуют психологическое состояние „исступленной“ Шарлотты:

О тень любезная! Тень горестно стеньяща,
Вкруг кипарисов сих задумчиво ходяща,
Прежалостная тень! Почто бежишь меня?
Остановись и зри, как купно стражду я.
О Вертер! Всякий час Шарлотта умирает:
Когда всяк час ее скорбь люта вновь пронзает.

Вотще я предаюсь надеждам бесполезным,
Едина смерть меня соединит с любезным.
Ей предоставлено страдания скончать.
А я, преставши жить, престану умирать.

В „Полезном упражнении юношества“, где было помещено это стихотворение, не указано, что оно представляет собой перевод. Но в „Московском Журнале“ Карамзина был напечатан другой перевод того же стихотворения с указанием, что перевод сделан с французского. Из примечания Карамзина к этому стихотворению в „Московском Журнале“ (оно называется „Шарлотта на Вертеровой гробнице“) ¹ явствует, что „сочинитель или переводчик сей пьесы есть молодой, четырнадцатилетний человек, незнакомый издателю журнала“; подписана пьеса буквой „С“. Самый перевод, сделанный четырехстопным ямбом, более сжат, нежели первый, но еще менее выразителен, что можно заключить из последних четырех стихов его

Надеждой льщу себя напрасно,
Одна нас смерть соединит:
Престану умирать всечасно,
Тогда как дух мой излетит.²

Traduites de l'Anglois, Paris 1787“. Английский источник этого перевода таков: The Letters of Charlotte during her connexion with Werter [!]. Кроме указанного было еще два французских перевода. Библиография у Appel'я в указанном сочинении.

¹ Московский Журнал, 1791, ч. VI, стр. 122—124.

² Там же, стр. 124.

Что касается до источника этого перевода, то, повидимому, французский текст был, в свою очередь, обработкой многократно издававшегося стихотворения Карла Эрнста фон-Рейтценштейна „Lotte bey Werthers Grab“, изданном впервые в 1775 г. Впрочем, французские переводы этого стихотворения в обстоятельной библиографии Вертера в упоминавшейся уже книге Арре'я не указаны.

Значительно больший интерес представляет стихотворение Д. Баранова „Шарлотта при гробе Вертера“, ¹ которое, повидимому, тоже представляет перевод. Едва ли можно допустить, что малолетний поэт (Баранову было в то время 14 лет) мог самостоятельно понять проблему Вертера, как проблему самоубийства, или, точнее, права на самоубийство.

А смерть! Один конец несчастья людей.
Приди и иссуши ключ горести моей.
Одной минутою, единым мановеньем —
Окончи бытие, наполнено мученьем.
И тело отдели от существа души,
Окончи бедствия и страсти утуши.
Но ежели судьба столь строго ополчится,
Что жизнь моя еще к мучению продлится,
Могу ль ей жертвовать всей крепостью моей,
Чтобы не прекратить своих несчастных дней?
Но коей подлежит убийца той награде?
Не будет ли ему мучения во аде?
Самоубийство чтя законом естества,
Стараемся итти противу божества —
Какой ответ дадим перед его престолом?
Убийство завсегда убийство перед богом.²

Таким образом, Баранов переводит вопрос в область этики, разрешая его в духе консервативной религиозности и, тем самым, осуждая Вертера, как героя мятежного, восставшего против

...намерений Творца,
Начала коим нет, ни меры, ни конца.³

Тема эта продолжала занимать русских писателей и читателей и позднее.

Во всяком случае, имя Гете к началу 1790-х годов достаточно уже известно русскому читателю. В том же „Московском

¹ Зеркало Света, 1787, ч. VI, стр. 768—773.

² Зеркало Света, 1787 г., стр. 771—772.

³ Там же, стр. 772.

Журнале“ Карамзин, следя за новинками западных литератур, помещает короткую рецензию о „Goethe's neue Schriften“ 1792: „Новые Гетевы сочинения. Тот же Гете — тот же великий Писатель, которого дарованиям удивлялись мы в прежних его творениях“.¹ О „нежном Гёте“ упоминает и Яков Галинковский в своей литературной энциклопедии „Корифей или Ключ литературы“,² а с 1801 г. начинают появляться и стихотворные переводы из Гете. Несколько раньше этого времени, под влиянием „Вертера“, возникает ряд подражаний в виде „полусправедливых повестей“, „истинных происшествий“ и т. п.³ Иными словами, Гете делается активной величиной в формировании дворянской литературы в России.

¹ Зеркало Света, 1787, ч. VII, стр. 377.

² Корифей, 1803, кн. 2, стр. 45 и 170. В кн. 3, стр. 33, в отделе „Драма“, находится следующая характеристика Гете: „Гёте написал неподражаемую драму Готц де Берлихинген; Монвель перевел ее на французский язык. Она заманила великое число подражателей, так как и Вертер, но сей писатель не имел еще соперников. Драма имеет великие неправильности; но они заменены весьма сильною, поражающею живописью; характеры в ней удивительно нарисованы, явления есть чрезвычайно занимательные; между прочими неподражаема сцена тайной; сверх всего она наполнена самыми высокими, блистающими чертами. — Другие драмы, которыми наводнилась потом Германия, не заслуживают быть упомянуты“.

³ В. В. Сиповский. Влияние „Вертера“ на русский роман XVIII века. Журн. минист. нар. просв., 1906, № 1, отд. 2, стр. 52—106.



3,18 (1987)
Цена 1 р. 75 к.

Р
6906

125207
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ГЕТЕ

1832—1932

Доклады,
прочитанные на торжественных заседаниях
в память Гете 26 и 30 марта 1932 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
ЛЕНИНГРАД 1932